



Золотая библиотека
«Русского Гулливера»

Юрий Казарин

СТИХОТВОРЕНИЯ

Москва
«Русский Гулливер»
2015

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

К14

Золотая библиотека «Русского Гулливера»

Казарин Ю. В.

К 14 Стихотворения/Ю. В. Казарин. — М.: Русский Гулливер
(Центр современной литературы), 2015. — 384 с.

Юрий Викторович Казарин родился в 1955 году в Екатеринбурге. Работал на Уралмашзаводе, служил на Северном флоте. Окончил филологический факультет УрГУ. Автор нескольких книг стихотворений, научной прозы, эссеистики и толково-идеографических словарей (в соавт.). Стихотворения публиковались в российской и зарубежной литературной периодике. Доктор филологических наук, профессор УрФУ. Живёт в деревне Каменка на реке Чусовой.

В издательстве «Русский Гулливер» выходили книги стихотворений Юрия Казарина «Каменские элегии» (2012) и «Глина» (2014), а также сборник статей, очерков и эссе «Культура поэзии» (2013).

© Казарин Ю. В., 2015

© Паташинский Д. А., оформление, 2015

© Русский Гулливер, 2015

© Центр современной литературы, 2015

ISBN 978-5-91627-165-2

Каменные элегии

Из первой книги

* * *

Ворохнётся в окне ветка.
Я бываю с тобой редко
на земле. Чаще в дереве, в небе
я брожу, позабыв о хлебе,
о себе, о погоде, или
пропадаю в речном иле,
сквозь высокую воду пройдя
без дождя.

Потеряю в паденье лицо, руки,
стану частью твоей округи,
на окне твоём отпечатки
пальцев выставляю в Рождество:
тополь в инее, как в перчатке,
если палкой не бить его...

* * *

Неба всё больше, мало
суши осталось, тверди.
Жизнь наконец совпала
с тем, что коснётся смерти.

Снег и земля друг другу —
в лоб, в мозжечок метели:
кажется, что по кругу,
в сердце — на самом деле.

Все-таки скорость взгляда —
это не скорость птицы,
а намерзанье сада
на острие ресницы.

Медленный взгляд оттуда,
где умирают звуки,
где происходит чудо
прямо из этой муки.

* * *

Е.

На читку воздуха едва ли
мне хватит этих смертных уст:
откроешь фолиант рояля —
он пыльной музыкою пуст.

Он как раскрытое жилище,
чердак, где плакала метла,
как снегопад и пепелище,
не выгоревшее дотла.

Как дом, не купленный в деревне,
где ночью рвутся провода
с душой, готовой к перемене
не мест, а места навсегда.

* * *

В пепельнице окурок,
в небе кусок луны.
Тысячу слов, придурок,
вытянешь из стены.

Спи, говорю, покуда
счастья на свете нет:
мучает этот свет.
значит, иное чудо

* * *

Л. К.

Отвернувшись к стене,
чтобы прямо сказать стране:
ненавижу тебя, но не
умирай, оставайся во мне,
словно небо, растущее вне
понимания неба; в вине
не тони, не куражься в огне
стужи, ужаса и, к стене,
но с другой стороны — в окне —
отвернувшись, прижмись ко мне.

* * *

В. Б.

Глазам хватает неба и земли:
посмотришь вдаль — и плачешь там, в дали.
Прошли по берегу коровы,
оставив в пёстрой наготе
себя гравюрой на воде:
вода из неба гнёт подковы
для первых заморозков, где
опавших волн сухая лепка
уже идет секунды три,
и пахнет снег, как божья кепка,
наверно, пахнет изнутри.

* * *

Утки летят на восток,
изображая кусок
времени, наискосок
от бесконечного света,
озера, ока, поэта,
выстрелившего из лета
осени в правый висок.

Уток, наверно, с пяток,
а присмотреться — четыре
выгнулись, как локоток

музы, которая в срок
держит последний урок
на леденеющей лире...

* * *

Дурачок, дурачок,
отпусти домой зрачок
с неба семидонного,
людям похоронного,
или неба сродного,
для любви пригодного,
неба золотого,
как большое слово
с буковкой бу-бу,
с молнией во лбу
да с душой-обузой,
с птичкой белопузой —
ласточка пять раз
поцелует глаз,
ясный, бестолковый,
к темноте готовый,
коли белый свет
съели на обед...

* * *

Сухая гроза — что в завязке алкаш.
С утра обезвожены поры позора.
Рыданье подробно, как горный пейзаж,
увязший в кириллице, где карандаш,
себя истирая в леса и озёра,
иную грозу помещает в шалаш
на вечную вязку то мысли, то взора —
в безумие неба, в морщины узора
и в глухонемое мычание хора,
когда за слезу всё на свете отдашь.

* * *

Птицы — в прошлое, в лето, на юг,
а листва, отбиваясь от рук
и ветвей, на единственный круг
отрывается перед ночлегом
между голой землёю и снегом.

В лёгком солнце замешкался дрозд —
взятки глаз ослепительно гладки,
и дыханья шальные лошадки
распускают по воздуху хвост.
По ночам выпадают осадки
в виде звёзд ...

* * *

Деревня дымом в смерть заехала,
где, снежный хлебушек кроша,
мерцает бездна, словно зеркало,
когда в него глядит душа.

Где иней звёзд ерошит брови,
в глазах закрытых карта крови
во тьме с небесной совпадет —
никто сегодня не умрёт...

Никто сегодня не умрёт.

* * *

О, Господи, не умирай
своих животных и растений
и не вперяй без потрясений
тяжёлый, нежный ад осенний
в мерцающий и мёртвый рай.

* * *

Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу,
нужен мальчик-заика и ножик,
и река, и чтоб небо щипало в носу,
и пыхтел под рябинами ёжик.

Скоро дождик равнине вернёт высоту,
в одуванчике высохнет ватка.

После ивовой дудочки горько во рту,
после ивовой музыки сладко.

* * *

Уже зима вбивает в землю гвозди
и сердце из небесной полыньи
вздымает, как рябиновые грозди
над пустотой. О, ягоды мои!..

Жемчужный лёд растёт с ветвей — без створок,
бесстыжий свой показывая стыд.
Мне снится море. И оно шумит
в моей земле, где ночь и минус сорок.

И Млечный путь себя сгущает в твóрог,
или в творóг, как Иов говорит.

* * *

Взгляд остановлен птицей.
Господи, стрекоза ...
Небо кольнёшь ресницей —
Что это? Чья слеза?

Вечность — простое чудо:
видишь меня, вода?
Скоро и мы оттуда
будем смотреть сюда.

* * *

Сорока на столбе.
Ну что ещё тебе
сказать, когда в окошко
смотрю: вот куст, вот кошка.
Как время вдоль воды
то пятится, то длится.
Вот человек, вот птица
и на воде следы.
И, как заведено,
скользит с небес пшено
по лунному осколку
из рук — из первых, но
невидимых, поскольку
кончается окно.

* * *

У куницы
короткие ресницы,
как у кошки,
а ещё блошки,
чтобы почесать
укушенное место, а потом, мать
твою за лапку,
взяв себя в охапку —
спать
и в себе свои сны обнимать:
сломанную охотничью лъжу,
на реке ледяную грыжу —
прорубь, над рекою крышу
прозрачную — видно рыбку,
она держит себя, как скрипку,
упирается в глубину,
исполняя во сне улыбку
и крещенскую тишину.

* * *

Деревня пустила
белые корни в небо.
Знать, замесила
квашню для стряпни и хлеба.
Принюхивается небо
стужей, звездой железной
к жизни над бездной...

* * *

Проснёшься ночью — света нет
и не было его,
как будто это новый свет,
иное вещество.
Всё исковеркано ледком —
красивое зато,
как будто кто-то босиком
ходил. Я знаю, кто...

* * *

Почти отмучившись, отмучив
ночь, косоглазую от слёз,
проснусь и вспомню: снился Тютчев,
и — сажа белая берёз.

Тряхнёт скворец, с бесстрастным глазом,
плечистым пушкинским плащом:
кто долгим прошлым был наказан,
тот будет будущим прощён.

Душа отбрасывает тело,
как дым отбрасывает тень
между луной и светом белым
в его смертельную сирень.

* * *

Земное притяжение с ума
меня сведёт, наверно, после жизни,
когда в слезах закончится зима
в моей теплеющей отчизне.

Ты топишь печь и плачешь. И нигде
не находясь, я вижу, как со стоном
осина разгорается в дожде,
пылая в зеркале оконном.

* * *

Ты легко поднимешь руку
на прощанье, чтоб рассечь
мир на полную разлуку
и на внутреннюю речь.

Беспризорник бьёт небольно
в створ небесного окна,
и звенит в мяче футбольном
ангельская тишина.

И опущенную руку
дождевая ищет нить,
чтобы музыку и муку
навсегда соединить.

* * *

Собака плавает в пруду.
Я что-то спички не найду.

Вот сигареты, пальцы, губы,
вот берег, лес, плотина, срубы,
вот неба с ласточкой горец,
и с чёрной удочкой отец

стоит над прудом и в пруду
не отражается, покуда
плавёт собака ниоткуда.
А спички — вот, и это — чудо
в две тысячи восьмом году.

* * *

Поговоришь с водой,
вернее — помолчишь.
И чёрно-золотой
качается камыш.

И чёрно-золотой,
как божьи брови, шмель
под страшной высотой
несет виолончель.

* * *

Режет глаза в окошке —
это распустится
то ли цветок картошки,
то ли капустница.

Бабочка оживает,
распространяясь в ряд,
мечется, пришивает
к воздуху влажный взгляд.

Всё на живую нитку
сшито — не перешить...

Высмотреть эту пытку.
Выплакать эту нить.

* * *

Как долго лошадь пьёт из лужи:
сначала ноздри, очи, уши
свои, потом кусок небес
и в кромку врезавшийся лес.

И дождь идёт, у нас бывает —
он лупит вкось по пузырям,
и лужа ноздри раздувает
навстречу розовым ноздрям.

Целуйтесь, два лица природы, —
и жажда жизни, и любовь,
пока несут над бездной своды
вода и кровь, вода и кровь.

* * *

Уши, особенно мочки,
мёрзнут сегодня с утра.
Мёртвая бабочка в бочке.
Осень, однако. Пора.

Думаешь странные строчки —
Боже, какого рожна:
мёртвая бабочка в бочке —
может, живая она ...

* * *

Трава сказала — умираю,
и в ледяном её аду
я босиком иду к сараю —
как по стеклу в стекло иду.

Похолодало — всё прошло.
Какое счастье жить без чуда.
Какая русская простуда.
Какое мягкое стекло.

* * *

А смерть осиною
не отдаёт —
сугроб гусиный
сюда плывёт.

С другого берега
по синеве,
хотя до снега
недели две.

Идёт, гогочет
мужичья сыть —
о Риме хочет
поговорить.

Подашь ли голос
по-над водой —
летит, как волос
совсем седой...

* * *

В воду врастают ноги
женщин, овец, берёз.
Слепнут лесные боги
от деревянных слёз.

От оловянных, снежных,
от алюминиевых.
Сколько их было, нежных?
Сколько осталось их?

Чьи это листья, вещи,
наволочка, ночлег?
Это ложится вещей
с неба упавший снег.

* * *

Волынки плач овцы. Грамматика двойная.
И ангелов нитьё и визготня.
Стоять, стоять, очей из тьмы не вынимая,
ступнями отбиваясь от огня.

Волынки детский плач. Печаль полунемая.
Двухспальная железная кровать.
Лететь, лететь, крыло в чернила окуная,
и — белое — из бездны вырывать.

* * *

Всё больше интонации, тумана,
всё меньше слов, как осенью — вдвоём,
как этот подстаканник без стакана:
уже понятен времени объём.

Где виден лес, там в озере прореха —
вернее, в небе, в пазухе его,
где осень остывает, словно эхо
грядущего молчания твоего.

* * *

Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна
вступит и замолчит. Кукла больна. Она

смотрит не из себя, а из земли сквозь нас
в бездну, и вновь в себя — не закрывая глаз.

Пухом земля — земле. Снегом земля — душе.
Хлеб с золотой ноздрёй весь отражён в ноже.

Осень сошла с ума. Осень сошла с ума.

Осень сошла с ума. Значит, уже зима.

* * *

Снег в форме машины едет издалека,
снег в форме деревьев лесом стоит, пока
снег в форме мужчины ищет в толпе огня
и пролетает мимо в форме тебя, меня,
города и деревни, ветра в моей глуши
белого — в форме снега — шире живой души, —
и переходит в поле, где его из-под век
бездны не проморгает плачущий человек.

* * *

Ты откуда, сигаретный,
коли губы на замок,
мимолётный, неконкретный,
умирающий дымок?
Только ангел в чистом поле
жадно курит разве что
от чужой сердечной боли
в голубой рукав пальто...

* * *

Поздняя осень. В пейзаже,
кажется, больше золы,
чем чернозёма и сажки,
если не трогать углы.

Снегом твоим пролетая,
вижу в прореху крыла:
кончилась нить золотая —
белая нитка пошла.

* * *

Упираясь лбом в звезду,
чувствую, как тесно Богу.

В валенках на босу ногу
ночью выйду на дорогу
и уйду...

* * *

Ты знаешь изначально —
чем глубже, тем больней:
не истина печальна,
а приближенье к ней.

Не бабочек-снежинок
междоусобный дым,
а зренья поединок
с безумием твоим.

* * *

Ангелы легче снега,
это с утра бывает.
Валенок, павший с неба,
в воздухе застревает.
В воздухе над державой —
падает понемногу.
С левой, а может, с правой —
он на любую ногу.
Не на мою, на волчью.
Взвою — и снег раздую,
чтобы увидеть ночью
пяточку золотую.

* * *

Пуговицу смахнуло
время с моей рубахи:
что-то её катнуло
с воротника. Как с плахи.

Помнишь ли, переспелая,
пальцы мои и тело
тёплое. Помнишь, беляя?
Белая — пожелтела...

Горлу теперь вольготней
воздуха ждать иного
там, где в слюне господней
звук вызревает в слово.

* * *

У кукушки всего одно слово,
в котором два одинаковых слога:
один для мёртвого, другой для живого,
а интервал для Бога.

С крыши дождь опускает свёрла.
Два слога. Прореха. Два слога. Прореха. Прореха. Прореха.
Кукушка сама себе горло.
Кукушка сама себе эхо.

Осень. Льёт. Не отыщешь сушу.
Слёз не видно. Читай Басё.
Если захочешь увидеть душу —
просто выдохни. Вот и всё.

* * *

Что наши мысли? — бред природы,
когда она людьми больна.
Взыскует разум мой свободы,
а мысль — ничтожна и темна.

И бездна ближе в непогоды,
и небо плачет без конца.
И по воде проходят воды,
как призрак призрака Творца.

* * *

Воробьи склевали пайку.
Слава богу, я никто.
Поменяю на фуфайку
и перчатки, и пальто.
На фуфайку-невидимку,
чтобы с воздухом в обнимку —
только воздух и никто.

Над обрывом у реки
без смычка услышу чайку.
Словно ангел сквозь фуфайку
веет снегом в позвонки.
У обрыва. У реки.

* * *

От неба, и огня, и от воды глубокой
очей не отвести с присушенной слезой.
Болит лицо земли, поросшее осокой
по циркулю с кержацкою косой.

Нет на воде лица. Волна. На ней лица нет:
так смотрит с высоты и давит, боже мой,
окрестный взгляд без глаз — и он не перестанет
быть светом или тьмой. Быть светом или тьмой.

Грядущее — с небес, забытое — из хлябей
вычитывать, читать. Из гоголевских стуж
и зноев расплетать огонь, как волос бабий,
до чёрного листа сгоревших «Мёртвых душ».

Очнуться. Умереть. И долго ждать ответа:
кончается ли смерть? — Кончается. Она
не дума и не дым, а остановка света —
прозрачного до аспидного дна.

И, умерев, взойти в утраченное время,
земной короткий век перезабыть спеша,
и знать, что наяву не ястреб и не темя
упрётся прямо в бездну — а душа.

Не пустотою стать, а новой частью взгляда
окружного, когда всё видится, когда
не слёзы принимают форму ада,
а время — форму пламени и льда.

Из второй книги

* * *

Сколько времени там на весле,
капли две — это горькое чудо:
не успеешь привыкнуть к земле,
как пора закругляться. Отсюда
улетать, потому что зима,
убывать, зависая над телом,
в чём-то белом, наверное, белом
или чёрном, как вечность сама.
Или в чём-то прозрачном, в чём, ах,
нас выносит в небесную дырку.
И — солёные ленты в зубах,
чтобы не потерять бескозырку.

* * *

Пахнет ладонь сосной.
Кто-то умрёт весной, —
чуют иные глины
бездной без сердцевины.
В бездне полно тепла —
вот она подошла
к окнам твоим вплотную,
песню поет блатную,
что не умрёт никто,
так что снимай пальто
и облачайся в ватник.
В небе уже стервятник
к небу стоит спиной —
думает, что сосной
пахнут пила и руки
у мужика, в разлуке
с городом и страной.

* * *

Кто-то в печной трубе
делает на губе,
локоть вонзив в колено,
траурного Шопена.

Сажа не горяча,
не горячей плеча —
теплится еле-еле,
но поперёк метели.

Музыка вверх пошла,
сажа её бела,
и не болит колено
у печника Шопена.

* * *

Меж безднами двумя
то лодка, то ресница
качается, стоймя
стоит себе — и длится...

Утешь меня, утешь,
глагол, своим недугом —
своим зияньем меж
значением и звуком.

* * *

Запомнишь ли — не мысль, не звук,
не губ гончарную работу,
а исчезающую вдруг
земную ноту.

Чтоб там, где смерть и рождество
ещё в одном — в одном сосуде,
собой расширить вещество,
мерцающее в каждом чуде.

И времени знакомый хруст
не помешает за плечами
услышать полное молчанье
из первых уст.

* * *

Кто-то спросил: — Ну, как? —
ночью в пустом доме.

Я говорю: — Никак, —
этому никому.

Поздно. Я спать пошёл.

Просто оставляю свет.

И положу на стол
парочку сигарет.

* * *

Переведи меня
с дождя на детский лепет
усилием огня,
душа, сомненье, трепет, —

коль свет на том — другой,
чем свет на этом свете:
не вольтовой дугой
он порождён, а дети
его, во сне взлетев,
вынашивают в синий —
мышлением деревьев —
в невероятный иней,
иной в конце концов:
так речь врезает в строфы
и мысли мертвецов,
и голоса голгофы.

* * *

Дождик чует наготу
женщин, улиц и растений,
словно гений, просто гений,
пишет воду на мосту:
пишет, над теченьем стоя,
пишет время золотое
так, что течь невмоготу.

* * *

Плачет коза, поднимаясь в горку.
Кто-то затеял в лесу уборку.
Осень. В отхожее сыпят хлорку,
чтобы осело. Курю махорку.
Вот на окошке заело шторку.
Стало светлее. Пусть будет так.
Это, наверно, хороший знак:
коршун выписывает восьмёрку...

* * *

Е.

Ходит музыка по коже.
Серебрится вдоль дорог
что-то медленное. Боже
мой, я тоже одинок.

Ничего. Я умираю.
И, с закушенной губой,
непогода пахнет с краю
азиатского — тобой.

Ты без музыки танцуешь,
смотришь небу прямо в рот.
Трижды воздух поцелуешь —
и собака подойдёт.

* * *

Е.

Эта собака не для езды.
Имя собаки — имя звезды.

Имя собаки — имя цветка
цвета любви и её языка:

Словно от зноя зевнула земля.
Или собака. Собака моя.

Имя собаки — выдох и вдох.
Отчество — Бог.

* * *

Позолоченная стружка.
Ветром выструганный лес.
Заведёт земная вьюшка
злую вытяжку небес.

Чёрный дрозд летит по краю
неба, белого вдали.
Отвыкаю, отвыкаю,
отвыкаю от земли.

* * *

А. Решетову

Эти пальцы, веки эти
онемели в Рождество.
Нет на том, соседнем, свете —
кроме снега — ничего.

Помнят ли при тёмном свете,
как зима вползает в лес, —
птицы, ангелы и дети...
Население небес.

* * *

Медленно, медленно ваза,
выпав из левого глаза,
бьётся. На звук и на свет
вся распадается. Нет,
и на цветы, и на воду,
на пустоту и свободу
полного небытия...

Вечная ваза моя.

* * *

Е.

Что-то ещё я хотел... Никак.
Впрочем, уже не важно.
Знаешь, душа возмужала так,
что умирать не страшно.

Стужа слепила пяток ресниц
в свет, в ледяную ржавость,
чтоб не забыть перезябших птиц,
чтобы слеза держалась.

* * *

Дождю со снегом

Мороз пронизаем и розов,
но горек расплывчатый вид,
где призрак семи паровозов
дымит в деревеньке, дымит.

И некому утром приехать,
и дров остаётся в обрез,
чтоб выдуть алмазную перхоть
из оцепеневших небес.

И водку ласкают селяне,
и стужей душа восстаёт,
когда переходит сиянье
в зияние снежных высот.

И зябнет у жизни запястье —
до смерти: в канун Рождества
сшибаются страшные части
божественного вещества.

И смерть наполняет значеньем
всё, что не уносит с собой:
то музыку точит мученьем,
то бред возвышает мольбой.

Чтоб выйти из сердца, когда
в своём одиночестве тёмном
иголками сыплет вода
в сосуде мороза огромном.

И космос сжимается в дом
узлами сосны: спозаранку
он вывернет снег наизнанку —
и трогает прорубь ведром...

За богом случается бог,
он тоже не может без бога.
И неба хватает на вдох
и даже на выдох немного.

* * *

М. Никулиной

Зима в деревне холоднее:
в сугробах бездна, леденя,
сухим огнём отражена.
Какая близкая она.
Живу в деревне — прямо в небе,
о боге думаю, о хлебе.
И ангелы средь бела дня
с рябины смотрят на меня.

* * *

Погладил печь — спадает жар.
Я глину мял и плакал ночью,
и на плечах всю ночь держал
округу волчью.

Распеленай меня. Темно
под коркой глины, льда и хлеба
тому, что делает окно
необходимой частью неба.

* * *

Е.

В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом,
и на веранде пыль алмазная, когда
вдруг разорвёт бутыль, а воздух невредимым
останется стоять, как в проруби вода.

Без бабочки твой взгляд слоится и порхает —
повсюду снегопад, паденье и полёт.
Но время — это свет, и он тебя вдыхает.
Но вечность — это тьма: она тебя умрёт.

Тесня звезду зрачком, поймёшь в краю убогом:
что, именем своим, пройдя сквозь языки,
Бог остаётся быть двенадцатым богом,
вдувающим озноб в живые позвонки.

И варежку прожжёт алмазная присыпка,
и валенок уйдёт в замёрзший материк.
Когда шагаешь, снег кричит — ещё не скрипка,
и даже на бегу звучит — уже не крик.

На окнах, на садах — повсюду белый дёготь, —
любовь моя слепец, любовь моя беглец:
ей только обнимать, искать, ласкать и трогать,
и очи закрывать всему, что не слепец.

С фонариком луна и ангел с сигаретой,
как вспыхивает спирт — вот так глядит мороз
и плещет голубым, на кровле непрогретой
наращивая соль земли, морей и слёз.

Твоя звезда — с кулак, и тоже пахнет солью,
как кровь твоя, в тебе нашедшая тупик.
Душа хотела стать звездой, а стала болью,
в которую вошла, как музыка в язык.

* * *

В полуслезах, в полубреду
с подземной музыкой иду
к другой — неслыханной, небесной —
оборонять свою беду
и слушать ангелов во льду...

Мне хорошо в твоём аду
молчать над бездной.

Из цикла «Елене»

I.

Убивал. Великолепил.
Забывал. Кричал во сне.
Твои губы сжаты в пепел —
в сердце, сжатое во мне.

Прозреваю. Вырываю
взгляд из глаза своего,
чтоб обуглилось по краю
нашей жизни вещество.

Чтобы жгло окно в конверте
белом, снежном, голубом.
Что мне делать после смерти,
к чьей руке прижаться лбом...

В недочитанном романе
два забытых мертвеца:
я и ты — в чужом тумане,
снятая без лица.

II.

Ищу тебя. Иду по краю,
где льёт луна, где льёт левша.
Левее — к сердцу. Пропадаю.
Сначала тень. Потом душа.

Во мне зима. Она сквозная.
И я везде. К чему спешить.
Как будто умер я, не зная,
как эту вечность пережить.

VII.

Курю в больничном туалете,
тайком, почти на этом свете,
где лампочка из-за угла
беднее зимнего тепла,
где мёртвые ладошки моли,
черпнувшие чрезмерной боли,
навстречу машут дураку
и сыплют пепел на башку...

VIII.

Ангел плюнет в потолок —
ох, больничный, ох, высокий.
Недолёт. И мотылёк
опадает одинокий,
белый, серый, голубой,
даже палевый немножко...

И глядит, глядит в окошко
жизнь с закушенной губой.

IX.

Мышка больничная, жизнью шурша,
ищет пожрать. Зачесалась душа
у тишины, темноты, немоты,
шторок, прикрывших квадратные рты,
чтобы беззвучно крича, не вспугнуть
смерти немного и хлеба чуть-чуть,
капельку света откуда-нибудь...

Ангелу ночью очей не сомкнуть.

XI.

Когда я умер, стало мне
понятно всё: в каком огне,
во сне, в окне, в каком бреду
куда я, Господи, иду.

Когда я умер, ты прошла
тропую пекла и тепла
по мне, по мне, по мне, по мне,
по мне — во сне, в окне, в огне ...

XIV.

Прощай. Что было — не прошло.
И не продёт. И вечно будет.
Оно тебя ещё разбудит
и в окнах выставит стекло,
и поползут из крупных слёз
ночных светил дневные лица ...

Обыкновенный снег ложится
на деревянный снег берёз.

Из третьей книги

* * *

Я знаю эту дрожь.
Очей не закрывая —
и ты, земля, умрёшь,
бессмертная, живая.
И сквозь твои персты
пройдут пески и воды,
и небо пустоты,
и небо непогоды,
последняя слеза
без боли и печали,
которую глаза,
как мир, не удержали.

* * *

Е.

Где-то глаза кочуют,
думаю, в вышине.
Ангелы в нас ночуют,
прямо в хорошем сне.

Спи, говорю, родная,
очи закрой — и спи,
медленно поднимая
солнце в чужой степи.

* * *

Е.

Где очень больно, там светло,
а здесь темно и не бывало.
Я спал и думал: всё прошло,
а оказалось — всё пропало.

Удушье снов, удушье слёз —
до немоты и полной муки
произносить большой мороз
и в нем клубящиеся звуки.

У этой музыки твои
зрачки сиреневые... Боже,
и ледяные соловьи
без оперения и кожи...

* * *

В стену горох, в стену горох,
ливень в последней своей прямизне.
Это не птица защёлкала — бог
заговорил во сне.

Трогаю капли, на пальцах коплю,
складываю в ладонь.
Всё, что люблю, всё, что люблю, —
это вода и огонь.

* * *

Е.

Стукнет с небес дубинка
в бочку. И — боже мой —
сохнет твоя рябинка,
брошенная тобой.

Не с высоты полёта
ангела, а с земли
видно: твоя работа,
след от твоей петли.

Ливень оплетью длинной
вытянет месяц май.

Ночь просижу с рябиной:
только не умирай...

* * *

М. Никулиной

Сад напросился в дом.
Веткой открыл окно.
Что ж, посидим вдвоём,
выпьем своё вино.
Выпьем его до дна,
и — лепесток на дно:
бездна у нас одна.
Сердце у нас одно.

* * *

К вечеру, пустившему слюну,
к вечности, успевшей удлиниться,
звери, насекомые и птицы
полную включили тишину.

Это голос Бога? — Ни гу-гу.
Или спичкой чиркнула цикада?

Хочешь, я прошу и помогу? —
Господи, не уходи из сада.

Помолюсь за Бога моего,
чтоб не плакал — вечный, одинокий...

Голос у него такой высокий,
что не слышно голоса его.

Тесно в сердце сыну и отцу —
пусть они додумают родное,
чтобы постоять лицом к лицу,
упираясь в зеркало двойное.

* * *

Всюду Господа белые брови,
одуванчики и облака.
И разрывы растительной крови
в коронарных сосудах цветка.
И течение общего взгляда
с натяжением неба в реке.
Задыхаюсь. Не надо. Не надо —
сердце держит себя в кулаке,
словно главную розу, от сада
отсечённую кем-то...

* * *

Е.

Ходит шатун-трава.
Может быть, голова
кружится у земли —
яблони налегли
на вертикаль господню.

День-то какой сегодня?
Вторник. Сосед просох...
Чертополох. Подсолнух.
Ужас в глазах бессонных:
кто из них больше бог?..

Ясно, чертополох.

* * *

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

Холодно как. Слишком светло.
Баба в футболке
ковшиком в кадке разбила стекло —
в горле осколки.

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

* * *

Птичка серая скажет мне:
остаёшься в своей стране —
белой, каменной, ледяной...

Полетели на юг со мной.

Отвечаю сквозь первый снег:
я не ангел — я человек,
я — земля, я из глины весь...

Я давно похоронен здесь.

* * *

Так пасмурно, что нету небосклона
и некуда мечтать.

Вот лобачевская ворона:
пропала, появилась и опять
исчезла, и внезапно показалась —
и с глаз долой средь бела дня,
как будто вся во времени осталась ...

Как мало времени осталось у меня.

* * *

Нежнее инея в зверином ухе,
сосков малиновых на сучьем брюхе —
не имя, а снежинки костный хруст
от дуновенья Бога; Божьих уст
взыскают твёрдые уста сибирской стужи,
звезды полярной зрак становится всё уже,
всё глубже вдох, всё ближе к Богу Бог,
и в хрусталях — мертвец чертополох;
али репейник сам себя сосёт —
сосульку сладкую — и не произнесёт
никак своё большое имя смерти,
не чуя сквозь сугроб чугунной тверди.

* * *

Маленький человек,
мальчик — щека в песке:
глина у нас, как снег,
тает сама в руке.

Если тебе не лень —
вылепи воробья...

Ангел отбросил тень —
Господи, это я.

* * *

С.

Буду водой стоять
к дамбе лицом — и течь
в шлюзы за пядью пядь,
так распляясь в речь,
так испаряясь весь,
чтоб Иисус босой,
если вернётся, здесь
ноги омыл росой.

* * *

Е.

Ты в воду посмотришь — потом из воды:
твой взгляд голубые оставит следы
на небе, водой отражённом,
на небе, травой окружённом.

Ты в воду смотрела, как смотрят в неё,
взыскупя грядущего. Это питьё
осталось на пальцах от Бога —
немного, ты знаешь, немного.

Ты трогала каплю — не узел, а связь —
куда она делась, откуда взялась —
и дула на воду, сквозь слёзы смеясь,
и дула, как после ожога.

* * *

Живой и мёртвый, с вечностью во рту,
где прямо с неба оды пьёт Гораций,
где зренья продувает пустоту
до обморока, до галлюцинаций, —
живой и мёртвый, здесь я говорю
о том, что я ещё с тобой побуду, —
так говорю земле и снегирию,
а значит — ангелу и чуду.

* * *

Е. Шароновой

Под крышкой пусто. Нет, под нею
подвал и пыль похмельных дней.
Пустой кувшин поёт сильнее,
и заунывней, и страшней.

Пока вино бредёт оттуда,
где дремлет жизнь, издалека,
и проливается, как чудо,
из красной пасти черпака.

И чем полней, тем глубже, глуше
звучит кувшин в конце концов,
как неприкаянные души
одетых в глину мертвецов.

* * *

С.

Зимы короткий век —
светло, тепло и зябко.
И шмякается снег
с ветвей, как на пол тряпка.

Как пить сугробу дать —
погода золотая.
Упало капель пять
с навеса. И шестая.

И тот, кому не лень
считать, он знает что-то,
что удлиняет тень
до бездны поворота

дороги ...

* * *

Есть нитка золотая, есть игла
у молодого старого щегла,
чтобы заштопать старые кусты
для молодой высокой высоты,
чтобы света, красна или темна —
вся наливалась в ягоды она
до капли.

* * *

Е.

Хорошо ты сидишь у окна,
значит — кто-то с другой стороны.
Ах, какая ворона видна.
Ух, какие стаканы видны.
У него на лице стрекоза —
у тебя на реснице слеза ...
Ах, какие навстречу глаза.
Ах, какие навстречу глаза.

* * *

Е.

Стать золотым и нелюбимым
и умереть — и всё забыть.
Работать воздухом, и дымом,
и белой глиной. Глиной быть.
И пальцев ждать — с небесной тенью —
для лепки, ласки и труда
Того, кто выгладит смятенье
из благодати и стыда.

* * *

Не свет, а зрению подмога —
вон мухи белые летят.
Не свет — а взгляд огня и Бога.
Не свет, а взгляд.

Всему на свете одиноко —
вон, с ледяной тоской огня
и не мигая, с водостока, —
две капли смотрят на меня.

* * *

Е.

Твой бывший ангел у окна.
А говорят: весна, весна ...
Последняя она.

Слезую, как в щепоть, возьмёшь
чужого мира плоть и дрожь —
и горечь проморгнёшь.

Молчишь и держишь высоту,
как драхму кислую, во рту —
дышать не вмоготу.

Твой бывший ангел вышел весь,
а ты окошко занавесь —
и станет пусто здесь.

* * *

Крикнуть себе вослед:
счастья на свете нет.
Если случится где-то —
значит, оно без света.
Меньше в огне огня
стало. Наполовину.
Вылепи из меня
глину.

Новые элегии

* * *

Рыбы целуют изнанку
неба, накрывшего пруд.
Письма воды спозаранку
птицы с волной перечтут.
Кто это ходит и пишет
узкой стопой по воде,
лыбится, плачет и дышит
белой слезой в бороде...

Чтобы увидеть плотвичку —
кружев дыхательных дрожь,
ночью горящую спичку
прямо к воде поднесёшь.

* * *

Мёд золотой листвы выпит наполовину,
в дерево наливают с неба прозрачный дым,
выпитое пространство — вечности смотрит в спину,
видит берёзу, мёдом полную золотым.

Если не утирать слёзы, увидишь руки —
в пятнышках божьих кожа, белые рукава,
сыплющие сюда то тишину, то звуки,
помнящие щепоть, чтобы ловить слова.

Пальцы твои всегда пахнут медовой глиной,
воздуха воск заляют в горло — и тёплый звук,
если голосовой — ходит дорогой длинной,
если как поцелуй — то исчезает вдруг.

Сердце не надломить хлебом неучерствимым —
разве что надорвать, как золотой листок —
листик, листочек, лист, — вместе с прозрачным дымом:
осень тебя целует прямо в седой висок.

* * *

1.

Не с горя, нет, не с перепугу
ночь белоглазая бледна —
вдоль неба ливень гнал округу
и выпивал её до дна.
Там вечность слуху не помеха —
и влаги шум, и кровь твоя.
И выворачивалось эхо
в именованье бытия.

Когда ты шёл, не зная броду.
Когда вода упала в воду
с недвижимой скоростью сверла.
Когда Елена умерла.

2.

И снова Бог заплачет надо мной
я смерть свою к моей любви ревную
и высота срастётся с глубиной
в отчётливую линию прямую
и ливня повсеместная метла
густеет и растёт из водостока
и ангелу с метлою одиноко
Елена умерла.

* * *

Кто выдавит мне слёзы из-под век
в два кулака, в две радуги, в два горя,
в две горечи, в два малосольных моря
и в снег один-единственный, и в снег...

Под толщей влаги я уже плыву
в сиреневое с ультрафиолетом
и становлюсь то теменью, то светом,
которым наливают синеву.

От слёз земли до будущих твоих,
где каменеют глиняные плечи,
лечу туда, где зажигают свечи,
или туда, где задувают их.

* * *

Кто мне веки горькие поднимет,
разлепив разлуки мёртвый мёд ...
Дождь тебя, как дерево, обнимет,
ознобит, осиною назовёт.
Мёртвый дрозд — откуда он, откуда
утром, ниже неба, на крыльце ...
Сколько в нём и ужаса, и чуда.
Сколько смерти в этом мертвце.
Всю забрал, большую, на рассвете.
И теперь в округе благодать.

У, какая горечь в сигарете,
то есть в жизни, я хотел сказать.

* * *

Словно бабочка шире окна,
или камушком думает печка.
Застрелилась моя тишина —
или треснула в небе дощечка.
Или звёзды стеснились в груди,
прямо в сердце — и кровь серебрится...

Только в небо моё не ходи,
слышишь, в небо моё не ходи,
просто в небо моё не ходи —
ты не ангел, не взгляд и не птица.

* * *

Кто-то вскрикнул: «Баба Настя!» —
где-то в небе, высоко.
Сыплет смутное ненастье
вкось сухое молоко.
Вязнет солнышко на хлебе.
Дождик к горлу подошёл...

Лишь бы тот, который в небе,
бабу Настю не нашёл.

* * *

То шмель пинается. То муха
Гомера вытянет из тьмы.
То тишина. То гибель слуха
в грядущем шорохе зимы.

Из леса, брошенная всеми,
осина вышла. И окрест
она стоит одна, как время.
Как крест пылающий. Как крест.

* * *

Сивый, больной, поддатый,
жизни на три копейки —
вот деревенский Данте
в валенках, в телогрейке,
в думах, в своей простуде,
вечно в обнимку с твердью:
ангелы — это люди,
переболевшие смертью.

* * *

Прошла гроза, хорошая гроза,
стремительно, как в радости — страданье,
переливая страшные глаза
из мирозданья в мирозданье.
Могучая таинственная связь
моей земли, эфира и озона —
как будто пашня в небо поднялась,
и облака — как призрак чернозёма.
И в небесах увидишь мужика,
склонившегося над хрустальным плугом.
Сейчас он перепашет облака
и поперёк, и вдоль, и полукругом.
И станет тесно между двух зеркал:
в одном — душа, в другом — душа и тело.
В одном я к жизни новой привыкал,
в другом она смеялась и болела.
Гроза идёт, хорошая гроза,
и за руку сквозь свет ведёт рябину,
переливая синие глаза
из глины в глину.

* * *

Чертополоху-чуду
хочется только взгляда.
Бог обитает всюду,
не выходя из сада,
в общем-то, из любого,
лишь бы была рябина,
чтобы большое слово
губы твои любило,
чтобы в стихотворенье
высветилась слеза:
это, конечно, время
щиплет тебе глаза.

* * *

На расстоянье вытянутой — здесь —
руки, разлуки, памяти я весь
почти исчез. Так в дальнем разговоре
не слышно слов, но что-то шепчет море.
Как хорошо, что жизнь всего одна.
Большой реке в наклонном русле тесно:
отняв себя от глиняного дна,
она встаёт, как вечный дождь, отвесно
и льётся вверх в мерцающую тьму
навстречу возвращенью своему.

* * *

Летишь и видишь сквозь крыло
косой распах озёрной пашни,
где, как слеза, растёт стекло,
креня колодезные башни.

Лопатой сладкого леща,
его веслом — какая лопасть, —
как плащаница, трепеща,
хрустальная двоится пропасть,
сквозит и ширится, пока
сама в себе не отразится,
как налетающая птица
в озябшем оке рыбака.

* * *

Пёрышко чьё-то прилипло к порогу —
это с большого крыла.

Сад облетевший упал на дорогу,
всё, что осталось, — метла.

Будет сподручно и ветру, и Богу
осень смахнуть со стола ...

Время ворует себя понемногу —
так, чтобы вечность была.

* * *

Когда с фонариком рыбачишь,
ты как светило что-то значишь
и пирамиду глубины
ведёшь вершиной от волны.
В ней рыбы долгие летают,
сухое золото глотают,
текущее из фонаря
в глухие норы октября.
Твердишь: Державин, Данте, Дратва,
а на мостках сидит ондатра
и, задержав глубокий вдох,
молчит и спрашивает: Бог?
А ты фонариком посветишь
куда-то вверх — и не ответишь.
Вздохнёшь — и ангельскую дрожь
в разбитом сердце унесёшь.

* * *

Ещё до слова, до начала,
светясь без плоти и огня,
я слышал смерть — она молчала
и проходила сквозь меня.

И ослепительные ночи,
и утомительные дни
казались вечности короче,
но были вечностью они.

Вселенной головокруженье
пытаешься остановить,
чтобы молчать после рожденья
и после смерти говорить.

* * *

С.

Кто ягненка белого поставил на крыльцо?
Ах, у снега первого Господа лицо.
По утрам у Господа детское лицо.
Он ягненка белого поставил на крыльцо.

* * *

Это твоя зола
пальчиком провела —
пеплом неуловимым,
бывшим огнём и дымом, —
по кадыку, виску,
чтобы открыть тоску.

Пепел не взять в щепоть —
Полуистлела плоть,
словно без тьмы и света
выдохлась сигарета:
с неба мизинчик лёг —
дерево не прожёт.

Скатерть белым-бела:
как ты во мне росла,
глину мою рвала,
как ты меня сожгла —
знает твоя зола.

* * *

От поля в снежном перепахе
берёзам пятиться невмочь:
черны их белые рубахи,
когда они вступают в ночь.
Ты взглядом сам себя проводишь.
И пустота твоя светла ...

Как хорошо ты в землюходишь,
чтобы она в тебя вошла.

* * *

Сначала тень — потом сорока,
и снова снега пустота.

И длится с северо-востока
очей хрустальная верста.

Не отведёшь глаза от стужи —
так слёзы твёрдые утри
морозу, спящему снаружи
или палящему внутри.

* * *

Вот-вот пройдёт. Как больно. И во мраке
сквозь дым древесный ангелы видны.
Над крышами. В деревне. И собаки
хватают с неба шарики луны.

Вот и прошло. Как больно. И во мраке
позёмки снежной веют ковыли,
чтоб женщина рыдала из собаки
и дерево молчало из земли.

* * *

Взгляд пропадает где-то —
птицей мелькнёт в окне,
полный иного света,
но не вернётся, не
вспомнит слезу, и веко
красное, и тебя —
серого человека,
плачущего в себя.

* * *

Две деревяшки, помнишь, и пружинку
разжав, как пасть, поставлю на простынку,
прижму её к верёвке вдоль земли,
к верёвке без провиса и петли,
чтоб ангелы с собой не унесли.

* * *

Это утренняя птичка
расцвела и улетела.
Догорела в пальцах спичка —
золотая — почернела.
Поцелуй целуешь царский, —
шарик божьего ожога.
И в оконный крест татарский
упирается дорога.

Из других книг

* * *

Дождь отрада, дождь отравя.
В луже корчится окно.
Заболело сердце справа,
значит, всё же есть оно...

Просто снегу было мало,
а теперь совсем темно...
И до самого вокзала
светит позднее окно.

* * *

Какой ночлег — под музыку ведра!
Кругом роса от завтрашнего зноя.
И небо вылетает из костра —
игрушечное, звёздное, ночное...

И спит дитя, а утром был мужик.
И — девочка с седыми волосами.
И вдоль течения бегают кулик
с заплаканными детскими глазами.

* * *

Всё позади — судьба и лебеда;
и старый Бог, помянутый не все,
когда сойдёмся тесно, навсегда,
зубами чокаясь при поцелуе...

Солоноватый привкус бытия,
и на кусте качается пилотка.
И в толчее густого комарья
играет на волне пустая лодка...

* * *

А. Субботину

Как выпал снег, так пишется о снеге.
Так часто о любимом человеке
не говорят, как говорят о снеге.

А за окном такая благодать,
что страшно слово лишнее сказать:
мальчишки увязают, и собаки
не могут пухлый двор перебежать.

И строки эти вязнут на бумаге.
И страшно слово лишнее сказать.

* * *

На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом,
где осень в листопад оглаживает дом.

В эпоху между пеклом и потопом
мы хорошо, душа моя, живём.

С утра скрипит от инея фрамуга —
и дышит чернозём, подножный лед круша.
А ровно в полдень к нам погода с юга
придёт — и улыбается душа.

И дочь моя легко поёт и горько плачет.
И мать моя несёт развешивать бельё.
И в пять минут меня любовь переиначит
на времена безмерные её.

Теперь не уступлю ни пеклу, ни потопу
моей души рабочий монастырь,
мой азиатский дом с воротами в Европу
и огород с простором на Сибирь.

* * *

Я прижался к тебе — и земля побелела,
потому что я скоро отсюда уйду.
И на кладбище глина моя занемела,
и для саженцев ямы готовы в саду.

Я уйду, и другому расскажет вдова,
как я не отличил плоскодонку от гроба...

А в Сибири росли даровые дрова,
и глядела в Сибирь голубая Европа.
И сороку трепал перебор поговорок,
и потели грибы в моховую кошму.

Над рекой от росы зачесался пригорок,
и поэтому я пробежал по нему.

* * *

В этом доме был вчера покойник.
Окна — настезь. Комнаты пусты.
Сядет воробей на подоконник.
Дедушка посмотрит с высоты.

Бабушка развесила бельишко.
Парится картошка в чугушке.
Спит в саду зарёванный мальчишка
с яблоком надкушенным в руке.

Видит он: на кладбище копают,
старики заглядывают в сад.

Слишком высоко они летают —
мальчишки туда не долетят.

* * *

Приедешь из города — хлеб привезёшь.
Картошку почистит на ужин посёлок.
Гуляет по радио хор комсомолок.
И окна бросает в стеклянную дрожь.

Но вечером ты от любви не умрёшь,
а смену белья пронесёшь огородом,
где сивый Урал припадает к воротам
и ветхий парник на автобус похож.

Ты, голая, выйдешь из бани на снег —
и ночь наполняется ветром и взглядом,
когда, как совсем молодой человек,
морозец огладит тебя снегопадом.

А утром, когда повторяют кино,
ты прямо на юг разведёшь занавески.
До моря опять далеко и темно:
дорога, забор и шлагбаум в черкеске.

* * *

Мой дед не умер потому,
что было страшно одному.

Вернулся я, и утром мы
взошли на ближние холмы.

Я ничего не говорил,
чтоб не заплакать — закурил.

А он на корточках сидел
и белый хлеб с газеты ел.

Покушал, выдохнул — живу!
И руки вытер о траву.

* * *

У ласточки две родины. Она
из дома в дом всерьёз перелетает.
На родине смертельный снег растает,
и родина за морем не видна.

Полёт диктует праведная кровь,
и родина от родины — далече,
и не напрасно оперились плечи,
и всё на свете — голод и любовь.

И есть для глины с окнами речными
строительная сладкая слюна.
Две родины, и море между ними,
две родины — и ласточка. Одна.

* * *

Ночью проснусь и заплачу.
Сладко, легко и тепло
лето прошло наудачу.
Может быть, счастье прошло.

Все перед снегом светлеет,
ширится, смотрит в окно.
Бабушка спит и болеет,
ей тяжело и темно.

Вытащу из-под подушки,
чтобы от слёз не промок,
царский, как шкурка лягушки,
красный кленовый листок.

Знают ли твёрдые реки
детский зимующий страх:
как засыпают навеки,
как засыпают в слезах?

* * *

До свиданья навсегда.
На щеке твоей вода.

Постояли и простились —
как на осень помолились.
Лес подумать не успел:
разошлись — и опустел...

Ты идешь домой, как пьяный.
Ветер вывернул карманы.
Кто по ягоды пойдёт —
три копейки найдет.

Заморозки

Там, где к теплу пробирался любовник,
в грядках круша золотую слюду,—
в десять рядов перекроет крыжовник
зону запретную в голом саду.

С кем ты была напоследок, погода,
кто тебе ночью в подмышку дышал?
Видишь, земля опустела у входа
в тысячелетний семейный скандал.

Мёрзлой травы звероватая шерстка
ноги натрёт — и от слез не поймёшь,
как в темноте открывается фортка
теплым нутром в окаянную дрожь.

Спи, говорю. Ты всю ночь улыбалась.
Ревность мою обложили поля.
Будто погода во сне проболталась —
и от любви побелела земля...

* * *

Внесла лубяное бельё —
на улице похолодало.
А холоду все-таки мало
на вечное время моё.

Тоска раскидала тряпьё —
до смерти меня целовала.
А как мне любви не хватало
на грешное время моё.

С вокзала кричит вороньё —
по крику дойдем до вокзала.
На горле платок завязала —
кончается время моё.

* * *

И. Б.

Не божий промысел — подачка;
и ожиданья Страшный суд.
Посадка. Поезда раскачка.
Бельё казённое несут.

А был в буфетах жёлтый чай,
и — толчая на свет баранья.
Но оглушило — до свиданья,
и еле слышится — прощай.

И Данте празднует отъезд,
и светофоры гуще сада.
И на вокзале Книга Ада
в один читается присест.

* * *

Кажет шмель золотые подмышки
и бросается под сапоги:
над поляной, без дна и крышки,
до сих пор остаются круги.

Сколько в воздухе дыр и отметин —
можно в небо смотреть поутру.
Я у мамы красив и бессмертен,
если раньше её не умру.

Норовистый, как свет и погода,
я иду, спотыкаясь, на свет.
И тебя дожидаюсь у входа
в этой жизни, где выхода нет.

* * *

Приближается время творца —
пожилого мужчины.

Две морщины с живого лица
провели по дорогам машины.

И нательных листочков возня,
и весна из детей и озноба...

Наконец-то согреюсь до гроба —
и погода не бросит меня.

Это оттепель — до Колымы,
пробежав по этапу акаций,
от заплечной сумы да тюрьмы
научила меня зарекаться.

Белый сад — словно банный дворец,
где теплиц голубые обмылки...

А вокруг закипает скворец
с холодком на затылке...

* * *

Воскресенье. Выпал снег
По следам, чернее боли,
видно, как в трамвайном поле
заблудился человек.

Ляжет первый — лежебок —
малосольный, полужетный.
Не растаял бы... Дай Бог,
чтоб, как рюмка, не последний.

Сыплет вкось, исподтишка —
ангел, снежная щекотка.
И у девочки борода
не растаяла пока.

* * *

Ю. Казакову

Я чувствовал, когда на мушку
меня, стреноженного, брали.
И — алюминиевую кружку
срывал с цепочкой на вокзале.

Кончалась водка. Поезд вышел,
солдат по тамбурам качая.
Я даже выстрела не слышал
за колокольчиками чая.

Как после сечи, лес валился —
в лицо — от скорости — навстречу.
А мой вагон остановился —
и семафор плеснул на плечи.

Когда ты мёртв, ты больше значишь
в глухой российской тишине,
где наяву ты горько плачешь
и улыбаешься во сне.

* * *

Красный ястреб, жизнь у нас одна.
Далеко до космоса и Бога
в небе между морем и дорогой —
слышно, что железная она.

Режешь ты круги свои плеча.
Знаю я твою повадку птичью:
долго ты влюбляешься в добычу,
вместе с тенью волны волоча.

Поезд прошумит, тебе мешая...
Знаешь, ястреб, жизнь у нас большая:
скоро станешь морем и травой,
красный ястреб с белой головой.

* * *

Любил бы тебя, да морозная сила
по ветру меня загоняла в кино:
в такую погоду глаза уносило,
что в зале до крика бывало темно.

Я вышел на волю из чёрного хода.
А жизнь убывала, и слышалось мне,
как снег вырывал каблуки у народа —
и скрип лесопилки гулял по стране.

Потрогал трамвай — он дрожал под рукою,
в два рельса, в два горла гремел на ходу.
И город очнулся уже за рекою
деревнею — навзничь — в сибирском саду.

Где в беловолосую рябь кинолент
на слово «любовь» открываются губы.
И в ласточкин хвост упираются срубы
коричневых бань, заглотивших Ташкент.

* * *

В том месте, где душа
донашивает тело,
ни хлеба, ни гроша,
ни Бога, ни предела.

Вся кость пошла на крест —
крестец апрельской плоти,
и высятся окрест
дожди в мужской работе.

Не ливень, а нахрап —
по яблочко в колодец.
На свете столько баб
с глазами богородиц.

Отнимешь от земли
такую росомаху —
и тихо до петли
на сердце рвешь рубаху.

* * *

Ночью шлёпал босыми ногами.
На восток улетало окно.
Где по городу-году кругами
умирающих водит вино.

Точит очи зимы рукоделье,
сладкой ревности, дрожи, обид.
В полыханье любви и похмелья
мотыльками я перенабит.

И лечу, в черноту упираясь,
и стою в переулке глухом —
и, как ангел в слезах, утираюсь
залетевшим из жизни стихом.

* * *

А. и М. Чупряковым

Пасмурный день. Средиземная скука.
На подоконнике птичьи значки.
Смотришь на мир, как в слезах, близоруко,
будто с окошка сорвали очки.

Будто бы в шубах дерев очертанья.
Холод в июне берет на испуг.
И на вокзале орда чемоданья
кровельный поезд толкает на юг.

Светом полна слепота человечья.
Белый ягнёнок бодает кошму.
Знаешь, у всех заломило предплечье
в греческом русском татарском Крыму.

Крым набекрень. Там кремнистые страны.
Там, напорвшись на катер, туман
вывернул к чёрту бараньи карманы
и показал мировой океан.

* * *

М. Чупряковой

Спи на Рождественском лугу
крестом безруким, как во гробе.
Я больше видеть не могу
Сибирь, убитую в сугробе.

На песни с Богом — ни гугу
в краю, где Бог тебя не слышит,
а жизнь и любит, и дышит
теплее женщины в снегу.

Шмель

Л.

Я на руке несу шмеля —
о полосатая земля.

Скажите Богу и шмелю,
как я в июне жить люблю

Как я одну её любил —
и убивался, и шмелил,

на рукаве неся шмеля,
как горы носят Шамяля.

* * *

А. Бабенко

Сибирь прилипла к сапогу,
и я подумать не могу,
где и с какого краю
я по ночам летаю.

Но, как во сне, глаза открыв,
я вижу поле и обрыв,
где путают ресницы
то слёзы, то синицы.

Я за дождём во всю длину
в чужое небо загляну,
не делая ни шагу
к проклятому оврагу.

А хорошо на высоте
болтать ногами в пустоте,
как ангелы болтают,
когда они летают.

* * *

А. Житкову

С востока сдвинулась душа
на рубчик царского гроша —
вот-вот покатится по полю
на продуваемую волю.

Где в небе город как подвал,
где я с твоей душой бывал,
худую осень коротая:
она, как Пушкин, золотая.

Где вся листва у тополей —
как сотня пропитых рублей.

* * *

Во мне побывали Париж и Москва,
но пахнет Сибирью моя голова,
как пахнет трава у порога
ногами прохожего Бога.

* * *

Как две свечи — надбровья
смеркаются во лбу.
Текут зимы низовья
в февральскую трубу.

А в поле Пушкин мнится,
где сочиняет снег
да жмурится волчица —
хороший человек.

* * *

У рыбы круглые следы,
как будто Бог идет по водам
и осеняет небосводом
собрание утренней воды.

Где ивы зябкое вязанье
низводит в нитку — наутёк —
вялотекущее касанье,
скольжение лодки с локоток.

Пространство юное — без кожи,
в слезах, у солнца на краю,
где всё — из голоса и дрожи,
как полагается в раю.

* * *

Стрекоза на седьмом этаже,
словно капля дождя на ноже,
словно чеховское — в стороне —
выше смерти порхает пенсне
тридевятое лето подряд.

И глаза от России болят.

* * *

Озябли Божьи ноги,
и мается поныне
душа в подкожной глине,
а глина на дороге.
А глина на дороге —
и тянет прямиком
туда, откуда боги
приходят босиком.

* * *

Л. Бабенко

Я писарь твой, Господь,
я поводырь глагола.
Суха моя щепоть
в эпоху недосола.

Крепка на полный крест
и чистое писанье,
пока у здешних мест
не звук — а расстоянье.

Не взгляд — а Млечный мост,
горизонталь монгола,
где шире сущих звёзд
спряжение глагола.

* * *

Какое головокруженье —
апрель по брови.
Левостороннее движенье
любви и крови.

Тоска и музыка — скольженье
плакучей тверди.
Одностороннее движенье
любви и смерти.

* * *

Снегопад. Сибирь, однако.
Глубоко теперь земля.
Под окном печёт собака
каменные кренделя.

Око мёрзнет в повороте.
Сохнет скрипка в башмаке.
Хорошо плашмя в полёте
плющить слёзы на щеке.

Подоконник любят дети —
кубик света с утра —
потому что нынче сети
упустили мертвеца.
С бакенбардою лохматой,
с круглой пулей под живот.

Это снег. Его лопатой
только Пушкин приберёт.

* * *

Пахнет красным жёлтый донник,
если слово пить до дна.
Если поле — подоконник,
подоконник без окна.

Дождик, дождик, ящик тесный,
отвори в последний раз
без ножа разрез небесный
противоположных глаз.

* * *

Зеркала осколок
к фортке поднесу —
первых звезд посёлок
дышит на весу.

Свет находит тело —
слабое жильё.

Вот и запотело
зеркальце моё.

* * *

Это хруст каблука, вывих твёрдого знака:
подморозит — и в гипсе худеет тропа.
Так звучит пустота, и последнего мака
оглушительно трутся — толпой — черепа.

Полуголос. Озноб. Размноженье согласных —
шепелявость и свист, говоренье ползком.
Словно змеи и птицы — в соитиях красных —
мучат соль альвеол не твоим языком.

Это сыплет зрачком неродившийся опий —
чёрной маковкой — вслед дальнотворкой игле.
И, промёрзнув до дна, лужи крепче надгробий
прижимают себя к уходящей земле.

Это хвойных лесов столбовое дворянство.
Это холода храм с петушиным коньком,
Где высокому звуку не хватит пространства,
если время и смысл совпадут целиком.

* * *

М. Никулиной

Мужских очей объятье
с тобой — в тоске квадрата:
минутное распятые,
прикус чужого взгляда.

Не проиграть в молчанку
тебя с тобой в обнимку —
внучатую гречанку —
косому фотоснимку.

На фоне парового
в Тагиле отопленья,
где только ты и слово
в порыве говоренья.

Где вечно полвторого —
зима, разлука — время
Когда целуют слово
и в родничок, и в темя, —

озябшую царицу
но весь обратный путь
в рогожу роговицы
пытаясь завернуть.

* * *

Е. Зашихину

Бродяга с бабочкой во рту
(какая ночь — она живая)
изображает немоту
битком набитого трамвая.

В пространстве съеденных зубов,
где нёбо выше небосвода,
произношенье первых слов —
и ослепленье, и свобода.

Свобода — выдох, а не вдох,
в дому двойной переполох —
осипшей бабочки смятенье,
когда всему дарует Бог
земную муку говоренья.

* * *

В невозможной тишине,
прошибая кровлю,
долгий дождь шумит во мне,
сталкиваясь с кровью.

Вечно я плашмя лечу —
никакой отныне.
Это только по плечу
воздуху и глине.

* * *

Скошены пчёлы, пропали поля,
срезаны с веток шмели,
прямо под снегом земля
вся состоит из земли,

словно душа после нас — из того,
что остаётся от мук:
не синева, а во сне — вещество,
переходящее в звук.

* * *

Думать, думать, думать
о тебе — в окно,
в пепельницу дунуть —
всё равно темно,

пасмурно и сыро:
дождь иль человек
в этой части мира
переходит в снег...

Так лицом к потоку —
мыслящая смесь —
Азия в Европу
промерзает здесь.

И окрест роится
силою ума
бедная водица,
белая зима.

* * *

Лампу выкручу-вкручу —
звук пустой и нежный.
Что-то хлопнет по плечу
в темноте кромешной.

Ничего в сковороде,
кран поёт разлуку,
наклоняешься к воде
почеломкать руку.

В тишине такой, малыш,
ничего не значишь,
даже если говоришь
или просто плачешь...

* * *

Я поплачу над фильмом плохим:
ещё с прежней женою
я в кино отправлялся бухим —
за чекушку, с тоской ледяною
погибал под Феллини. Взашей
удалялся, скотина-скотиной.
Я и сам был талантливейшей
безбюджетной картиной.
Обрывался, как заяц — скачок.
на щеке пропечатался прутик.
Собиратель пространства — зрачок —
мне, как смерть, эту ленту прокрутит
через двадцать беспмятных лет,
где меня уже нет —
между словом последним и делом,
в этом фильме — то чёрном, то белом.

* * *

Всю ночь волнистое стекло
по вертикали вверх текло
не сном, не отраженьем —
а головокруженьем.

Повсюду дождь искал меня,
и я не зажигал огня,
чтоб темноты не видеть
и неба не обидеть.

Я понимал, что не стекло,
не дождь, а зеркало текло
из памяти — наружу,
выматывая душу.

И не увидишь из окна,
как спит спиной ко мне страна —
чуть тёплая, большая,
дождя не нарушая.

* * *

Сердце сжимается, гибнет звезда,
светит себе после смерти вдогонку.
Сердце сжимается — это вода
входит в воронку
и расширяется, как вещество
боли и счастья с тоской внутривенной
муки и радости, в общем — того,
что остаётся от нас во вселенной.

* * *

А. Б.

Три вороны на север летят,
а одна повернула на юг.
Пустота — это взгляд,
он повсюду, мой друг.
Может, так после смерти глядят.
Наливай-ка полнее, мой друг —
все вороны на север летят,
а одна, слава Богу, на юг.

* * *

Смерть на продавленном диване,
в резине крепкие персты.
Так обретают христиане
большое зреньё темноты.

И чудо выдоха и вдоха —
черёмуха и черемша —
уже не воздух без подвоха,
ещё не мука и душа,

пока несут тебя, как глину,
два белокрылых мужика
на нежилую половину,
куда не ходят облака.

* * *

Я ничего у тебя не прошу —
нехорошо перед самой разлукой.
Сердце сжимается — так и ношу
этот кулак между миром и мукой.

Дождь сокрушается небом седьмым —
нижнее небо стоит снегопадом:
чувствуешь, кто-то шатается рядом —
зрячим, ласкающим, глухонемым,
музыкой, смёрзшейся в дерево, в дым,
остановившимся выдохом, взглядом,
воротником, рукавицей, подкладом,
стёганным голосом голым моим...

* * *

Косноязычные с мороза,
дохнув теплее паровоза,
три, нет, четыре мужика
стакан от остеохондроза
по старшинству, на два глотка,
по кругу пустят, и слегка
один из них отрежет хлеба
от хлеба, круглого, как небо,
косноязычен и нелеп,
хотя и мог отрезать неба
от неба, круглого, как хлеб.

* * *

Волк — в клетке
на требухе и воде.
Где твои детки,
волчица где?
Кто это рядом? —
Я до сих пор стою,
встречным взглядом
вкопанный на краю
двух клеток —
этой и остальной.
Глухонемой трёхлеток
с крыльями за спиной.

Глина

* * *

Лицо прекрасное, лицо беды.
Вплывает в засуху стакан воды
на золотоусте лермонтовской сабли.
Не пролилось ни капли.

Ещё во сне лицо твоё. Во сне,
который снится Лермонтову. Не
сопротивляется красавица беда.
Клинок отточенный, гранёная вода.

Клинок отточенный. Гранёная вода.

* * *

Не над бочкой, а прямо над бездной
без беды, без любви, без труда
между небом и плёнкой небесной
белый трепет расплющит вода.
Это бабочка. Это распятые.
Растяжение влаги. Стекло.
Это выдоха светлое платье
на холодную воду легло.
Это взгляда распах и суженье,
и сетчатки разрыв, и звезда,
упираясь в своё отраженье,
остаётся во мне навсегда.

* * *

Детское мужество, взрослые страхи
на голубом закипают глазу.
Выкрутишь из пропотевшей рубахи
боль неизбывную, Божью слезу.
Мутная — освобождает ресницы,
чудо вытягивая из беды,
чтобы нагнуться, прозреть и напиться
здесь, на земле, у последней воды.
Смотришь в неё с голубым полыханьем
льда или пекла из сердца земли,
будто хрусталь с потускневшим дыханьем
близко, как бездну, к глазам поднесли.

* * *

О. Седяковой

1.

В прошлом году, вчера,
я наловил плотвы —
чистого серебра,
истой синевы —
и в чешуе персты
подлинной высоты
даже впотьмах видны
прямо из глубины.

2.

Слух оторвать от звука,
зрение — от огня:
произнесёт разлука
истину сквозь меня:
ты полетай немного —
вымети облака,
чтоб доросла до Бога
лесенка мотылька.

* * *

И после смерти я умру
ещё не раз, перелетая
от чернозёма к серебру.
И вдруг — заминка золотая,
щербинка, вмятинка. С какой
печалью тянется по свету
пространство, нежностью, тоской
и болью сжатое в планету.
Недооплаканная, ты
глядишь из всех разбитых стёкол,
которые из немоты
я прошлой кровью недотрогал.

* * *

Я к вам ненадолго — я в гости,
послушать, как уточка вдоль камыша
из воздуха ржавые гвозди
вытаскивает неспеша.
А значит, я к первому небу успею,
уже начинается взгляд.

Пять ласточек, в Кассиопею
построившись, в небе стоят.

* * *

Близорукий туман, дальноркая тьма
уводили меня молодого с ума,
как с холма, мимо бездны, в долину
к винограду, влюблённому в глину,
где дарует кувшину гончарная печь
гул и клёкот толкучий над чашами — речь,
поднебесную нёбную сушу —
не звучанье, а самую душу.
Три тумана сошло с побледневшей реки,
и на глине безводной стоят рыбаки,
упираются в донное темя,
тычут вёслами в чистое время.

* * *

Но кто-то за спиной —
как женский крик ночной,
безрукий, рукопашный —
невидимый, но страшный —
не ходит, не стоит,
он явлен ниоткуда
последний смертный стыд,
преображённый в чудо.
Ну, здравствуй, тень моя
из ужаса и дыма.
Ты — имя бытия,
но ты неуловима.

* * *

Всё перед снегом пахнет солью.
Сидим, чужие, у огня:
вот небо с головною болью,
из неба пущенной в меня.

Вот, насосавшись смерти, пчёлы
почти рассыпались, как свет,
как переходные глаголы,
переходящие в предмет.

Запахло снегом и Гомером,
и деревенским Данте. Да,
и осенью, где водомером
не исцарапана вода.

* * *

Шаги, шаги, шаги, а человека нету.
Но чувствую, сейчас попросит сигарету.
И спички... И ещё... Ну, в общем, огонька,
чтоб от него в горсти — прозрачная рука.
И видно сквозь ладонь Вселенную в горсти —
как сердце на весу — и глаз не отвести.
Ты весь теперь глаза — и глаз не отведёшь.
Вселенная в горсти, малиновая дрожь.

* * *

Уже сентябрь. Светлеет только в семь.
Жизнь — это сон, который снится всем,
когда в стекло оконное синица
себя саму, бессмертную, клюёт:
смерть — это жизнь, которая приснится,
но кто её, проснувшись, проживёт?..

* * *

Не снегопад, а призрак речи.
Как сгусток речи — кровь во мне.

Над печью дом расправит плечи,
и хрустнет косточка в окне.

О это гибельное чудо —
речь несказанная. Оно
болит бессмертием, покуда
в глазах от белого темно.

Лети, лети, снежок последний —
как первый Божий нежный гнев,
заглядывая в мир соседний,
от неземного побледнев.

* * *

Одеты в пустоту поля и перелески,
одето в небо всё, что жаждало его.
Врезается в лицо не рыболовной лески
прозрачное ничто, а взгляда вещество.
И ширится во мне мое исчезновенье:
такой простор во мне, что, кажется, и нет
меня, а только есть последнее мгновенье,
явившее восторг, переходящий в свет.
Но я еще дышу, шепчу, и горечь дыма,
как слово из огня, полощется во рту,
и всё, что навсегда теперь неуловимо,
одетое в меня — одето в пустоту.

* * *

Усилиями зренья и погоды
всё в инее. Его густые всходы
пострижены пятнадцать раз на дню.
О батюшки, пронзительные светы:
вон жизнь стоит, как пепел сигареты,
сгоревшей без затяжки на корню.
Я стужу пил и потому согрелся,
и всякий Бог легко в меня смотрелся,
как в зеркало, и видел глубину —
свою, мою и всё-таки одну.
Пороши пересол сверкал вокруг,
и сумрака хрусталь был тверд и светел.
И, мертвый, я себя живого встретил —
и взял себя, живого, на испуг:
мол, жив еще, и зеркало в тебе
не вытерто до дыр и полыхает,
и юная простуда на губе,
слепая, в нем, как бабочка, порхает.
Поцеловал наш холод на земле
и вышел вон из декабря наружу
в иную бездну, в музыку и стужу...
Но бабочку оставил на стекле.

7-е января

Сугроб подшит, как валенок: травой,
малинником с последней головой
репейника, расклёванной щеглами.
Земля накрыта главными глазами:
они подъяли спящие кусты.
И в небе шевельнулся гул чердачный ...
Ночной фонарик выпил дым табачный
и голубой трубой всосался в сад,
как Божий взгляд.

* * *

Семь дырочек в древесной самокрутке —
семь сквозняков, берущихся в щепоть.
И воздуха верёвочку из дудки
вытягивает с музыкой Господь.
Все семь небес сквозь дудочку — всё туже.
Семь выдохов и главный мой, восьмой,
из бездны и огня, тепла и стужи
освобождается — прямой.
И музыки начальное удушье
так натянулось, что оборвалось.
И всюду плачет дудочка пастушья,
измученная музыкой насквозь.

* * *

Нет имени у глаз — они ночное небо:
и звёзды, и сирень, и твой чертополох.
Без хлеба на столе немеет имя хлеба:
он голод по отцу, а голод — значит Бог.
И ты идешь с дождём обочь, попеременно.
Ни смерти, ни любви — сплошные зеркала.
Есть имя у беды — её зовут Елена,
нет, Лесбия — она от счастья умерла.
Ни смерти, ни любви — и вечность между ними —
без времени, когда смеркается оно.
Но как тебя зовут, неведомое имя,
когда всю ночь глаза твои глядят в окно?..

* * *

Не лицом — посмертной маской
прижимаешься к печи.
Только бабьей безопаской
злые вены не строчи.
Стой на лапах перебитых,
волк, морпех, чертополох.
Если память — это выдох,
значит, будущее — вдох.
Может быть, еще вздохнётся...
Из печной трубы пошло
прямо в небо — из колодца —
убиенное тепло.

* * *

Прекрасен на земле чертополох,
когда летишь сквозь небо золотое
и с Богом разговаривает Бог,
заглядывая в зеркало пустое.
Есть в воздухе и звук, и слух, и дым,
и в небесах пылает костяника.
И тишина стоит, как тень от крика,
отброшенная ужасом твоим.

* * *

В России дождь. В Его проходке
не волны в валенках одни —
мальчишки видят из-под лодки
Его огромные ступни.
Прозрачные темнеют пальцы
и пятки, вдавленные в пруд.
А дальше аисты-стояльцы
сухую лапку берегут.
Сухую — к сердцу поджимают
и, горло вечностью продув,
не умирая, поднимают
к лицу дождя холодный клюв.

* * *

Смерть тебе сходит с рук.
Вот завершает круг
боль на собачьих лапах.
Мир — это свет и звук,
всё остальное — запах
снега, потом цветов,
горечи слёз и дыма ...
В общем-то, я готов.

* * *

1.

Душа-невидимка — но дымка,
но сумрак, но тень и тоска ...
Но чёрную ленту вольника
натянет — и лопнет река.

2.

Дыханье ледохода. И к Алтаю
лицом — я вижу снегопад в раю,
как будто я свои глаза глотаю,
когда — в слезах — не плачу, а пою.

* * *

Зеркало сказало: умираю.
Вот и занавесили его:
древесину света, а по краю —
щепочки. И больше ничего.

Вот и не двоится воздух в жесте,
не смахнешь солёную слюду.
Проведешь очами против шерсти
мира, полюбившего беду...

В високосном, Господи, году.

* * *

Слышу звон топора, вьюрка —
в этой стуже наверняка
нехолодное есть местечко.
И летит снегиря сердечко
в сердце Божьего языка.

Ох, топорика синь флажок —
и сосновый прилип кружок
к топориному заусенцу...
А на правом плече снежок,
а на левом плече ожог —
ближе к сердцу.

* * *

О. Седяковой

О шелестящий звук,
словно ладошки в мыле.
Ласточку уронили,
выпустили из рук
в небо из неба и
прямо из сладкой муки —
это глаза твои
небу целуют руки...

* * *

Воды недвижимое мгновенье —
в плеве небес, в ночном соку:
огромное прикосновенье —
без поцелуя – к мотыльку.

На озере — тесней ожога —
не разрывается кольцо.
И словно круглый локоть Бога
всплывает рыбе колесо
и длит недвижимое движенье
по вертикали у виска,
преображая повторенье
огромной смерти — в мотылька.

* * *

Где-то молча пили, пели,
осушая зеркала.
Ночью смерть на край постели
не присела — прилегла:
привела живую глину
из подземного села,
чтоб она дохнула в спину
и за плечи обняла ...

* * *

В слепой росе, в дремоте комариной
паук наловит капель паутиной
и выпьет крепко: сладкая, всегда
его хмелила новая вода.
Потом пойдёт в деревню к магазину
понюхать влажных женщин и бензину.
Потом — домой, пугая воронье.
Потом пропустит душу сквозь ружьё —
и целой жизнью выстрелит в неё.

* * *

Смотреть слезами в темноту
и видеть, горькими, сиянье
того, что держит высоту
и дарит зренью осязанье...

И дышит солью мирозданье
с холодной музыкой во рту.

* * *

Попробуй птичье говорение
уста́ми мёртвыми вполне —
вода расставит ударение,
как восемь камешков на дне
ручья, мышления, течения,
небес, колеблющихся в ряд,
когда молчанье и мучение,
обнявшись в сердце, в горле спят...

Так только птицы говорят.

* * *

Бабочка сядет и крылья в щепоть
сложит, и воздуху вылепит плоть:
так — с поцелуем в два пальца, вслепую,
ловят свечу золотую,
щиплют огонь, как ресничку и мох —
выдохом Господа полнится вдох
всех, кто сквозь смерть своей кровью присох
к небу, земле или звуку,
вечно вращая в разлуку,
переливая в родную ладонь
свой оживающий влажный огонь:

бабочка всюду порхает —
кто её так выдыхает...

* * *

Лодка. Рыбачий домик.
В небо водой гляжу.
Воду держу в ладонях —
крепче земли держу.

Даже когда исчезну
тысячу раз подряд —
будет тревожить бездну
мой бесконечный взгляд.

* * *

Когда к тебе вернётся память взгляда,
тебя уже не будет. С высоты
тобой прижмётся черная громада
к озёрам, из которых смотришь ты.
Въезжают в очи звёздные полозья,
и разбивает зеркало таймень,
сгущая комаров дымящиеся гроздя
в гудящую и серую сирень.
И зеркало разбитое сойдётся
само в себя, выплаживая швы.
И сердце содрогнётся
от новой синевы.

* * *

Я в зеркале себя не узнаю,
где, как вода, я сам в себе стою,
где мертвого себя я обнимаю —
водой живой и мёртвой умываю.

Где карее я карим уловлю —
и всех родных, во мне живущих, вижу:
как я себя бессмертного люблю,
как я себя живого ненавижу.
И смертью молодую вечность пью,
и всё, до капли, жизнью допиваю,
и далеко от боли заплываю
сквозь две воды — в последнюю мою.

* * *

Так море движется и снится,
и говорит — и мир оглох.
И в дерево влетает птица,
а вылетает — Бог.
Как сон во сне — я море слышал
и плакал, сам себе чужой,
как будто я из сердца вышел
и стал душой.
Как будто умер я синицей
и в тёплой варежке воскрес,
не перечёркнутый ресницей
Твоей с небес.

В. Месяцу

Если спирту — воды немного,
чтобы крепче сжимать виски.
В одиночестве больше Бога,
чем отчаянья и тоски.
Больше жизни иной и тёмной,
где напрасны любовь и стыд.
Где ты ходишь, как смерть, огромный —
и под валенком мир хрустит.

* * *

Не гляди на меня, дорога,
как беду, обойди меня.
Одиночество старше Бога,
выше времени и огня.
Словно воздухом дух назначишь,
чтобы в горле стояла дрожь.
И опять, нерождённый, плачешь,
или, мёртвый уже, поёшь.

* * *

И бездна очи открывает:
сибирский проглотив аршин,
вода замёрзшая срывает
с себя — с опушкою — кувшин,
заиндевшие одёжи —
плечистая, стоит она
как выдох света — вся из дрожи,
вся целокупная, без кожи,
слезой и зрением полна.

* * *

Е. Перченковой

Деревья шли, деревья шли,
не вынимаясь из земли,
и сквозь себя на мир смотрели,
и обнимались, и летели
вперёд, а виделось — назад,
сквозь свой последний листопад.
И только дождь стоял, как сад ...

И только дождь стоял, как сад.

* * *

Словно табачный дым —
время, его слеза
горьким и голубым
лезет тебе в глаза.

Это туман: в росе
всё, что не знает дна.
Слёзы вернулись все,
а на щеке — одна.

Влаги обратный путь,
это сплошная соль —
Богу не проморгнуть
небом такую боль...

* * *

Плачешь во сне. Во сне,
прямо во мне, на дне
бездны моей. До дна —
ни одного окна.
Я хорошо живу:
небо ношу в груди,
мягко обут в траву,
тесно одет в дожди.
Скоро примерю снег —
вьюги скользят петля.
Все еще человек.
Или уже земля...

* * *

Время ищет открытую фортку
и снаружи вжимает в окно
чёрно-белую рыжую фотку,
где от счастья светло и темно,
где, от осени русской шалея,
на лету, на скаку, на весу
золотые ослы Апулея
лижут листья в холодном лесу;
сколько мощи и слабости в силе
тишины, доходящей до плеч,
словно ангелы позолотили
не ладошки — а тёплую речь.

* * *

Нет имени у смерти, потому
что смерти нет, она не отзовётся.
Но как мне с ней молчится и живётся
всей пустотой в твоём пустом доме.

Прошу тебя, от скуки перечти
души моей, уставшей от свободы,
хрустальные до звона переводы
с воды на лёд — усилием погоды, —
и в снегопады землю отпусти.

Прощай, вода, прозрачная, прости,
вся — поцелуй, особенно в горсти.

* * *

У, жестяное серебро
и алюминиевая ложка ...
Башкой ударила в ведро
земля, как в колокол: картошка.
То здесь, то там осенний гром
и эхо ясного ненастья.
И в погреб падает с ведром
зимы неммыслимое счастье.
С картошечки не снять мундир —
и, молодую, ждут в мундире,
и у костра теснится мир,
чтобы остаться в этом мире.

* * *

Вода понимает, что скоро зима,
и запоминает сады и дома,
бродячие бани, заборы
и впавшие в облако горы.
И, впавшая в небо, рыдает овца:
она потеряла и дом, и отца
ягнёнка, стоящего в луже, —
он запоминается глубже.
Еще над пригорком летит человек —
большой и незримый, как завтрашний снег, —
и птица, и птица, и птица
уже над водой не двоится.

* * *

У слепого слова солонь
и слезы незаметно паденье,
осязание осени, сны,
сочинившиеся до рожденья
твоего без тебя — твоего,
повторившегося ниоткуда:
молодой пустоты вещество,
осязание смерти, его
золотое осеннее чудо.

* * *

Утки делают пятый круг
над водой, чтобы север, юг
захлестнула одна петля,
чтобы в узел вошла земля:
воздух, озеро и огонь, —
подними над собой ладонь,
как бы небо держа в горсти...

Только уточек отпусти.

* * *

Кто тебе в спину смотрит с утра,
словно в спине дыра:
вырвано сердце, дальше никак —
в теле твоём сквозняк.
Дождь косоглазый воду несёт,
скоро ведро нальёт.
Нет, не ведро — это бадья,
лёд пообгрыз края.
Как же я жив — мёртвый стою, —
дождик глазами пью...
Дождик в окошко, стынь — бирюза,
скашивает глаза...

* * *

Когда человек умирает,
из него вылетает снегирь,
человек с лица вытирает
Сибирь —
и становится снегом,
потом землёй,
глиняным человеком:
корень сосны петлёй
держит его над миром
мёртвых, чужих, живых,
стужа, тоска — эфиром
пахнут, а на кривых
нижних ветвях с рогожей,
где не видна Сибирь,
просто, как сердце Божье —
снегирь.

* * *

Старенькое пальто.
Поднятый воротник.
Бог. Пешеход. Никто.
С сердцем внутри старик.

Бог. Пешеход. Никто.
Тянется шарф — петля.
Что это за пальто? —
это уже земля.

Что это за пальто?
Что это за пальто?
Бог. Человек. Никто.
Бог. Человек. Никто.

* * *

Сигаретка перед посадкой
оказалась короткой, сладкой,
словно куришь её украдкой
после жизни... Со всех сторон,
словно цены на хлеб без хлеба,
объявляют иное небо,
номер смерти, седьмой перрон...

* * *

Собака воеет не по мне.
Как много голоса в луне —
и потому молчит округа:
и вечность в дикой тишине,
и время, местное вполне,
собакой мучают друг друга
в невероятной тишине ...

* * *

N.Z.

В немеблированном бараке,
как сон во сне, ты снишься мне.
И слышно, как молчат собаки
и Бога слушают во сне.
И матерятся лесорубы,
и плачет в чайнике вода.
Зато звезда целует в губы,
когда такие холода.

* * *

Прикасаюсь к рябине, спящей, как смерть, в ноябре,
и она содрогается, открывает глаза в земле —
там, где у глины в каждой ноздре
по хрустальной петле.
Это червь дождевой, завязанный в узел,
живой, но уже ледяной.
— Я бы сузил, —
сказал Достоевский. — Попробуй, родной,
захлестни человека петлёй —
в стуже, в любви, в огне...
Рябина откроет глаза, подойдёт — прикоснётся ко мне.

* * *

С.

Умываюсь слезами с куста
зацелованной небом калины.
Прямо в горле стоит высота
с примороженным привкусом глины.
Это иней собранию трав
дарит смерть и бессмертное имя.
И молчу, и кусаю рукав,
пролетая над ними.

* * *

Эта капелька жизни с небес притекла,
развязала ресницы — и вспыхнула спичка.
Нет, конечно, снегирь. Нет, конечно, синичка.
Сколько жизни в тебе, невеличка? —
сколько в варежке слёз и тепла.

Ты мне жизнью была.
Ты мне смертью была.
Птичка, господи, птичка ...

* * *

N.Z.

Где-то в воздушной яме,
красной и ледяной,
музыка плачет нами,
а умирает мной.

Ей-то какое дело
до моего тепла.
Лишь бы тобой бледнела.
Лишь бы не умерла ...

Выйдет — возьмёт за руки,
и не отводит глаз.
Как вещество разлуки,
плачущее из нас.

* * *

Осень — это когда болит
всё, кроме неба. Земля, мужая,
палой листвой прикрывая стыд,
смотрит в себя — чужая,
словно снится сама себе...
Боль — это смерть и чудо.
И у воды на губе
ледяная простуда.

* * *

Край снегопада. Рай.
Пламя костра ночного —
словно собачий лай
в сердце глухонемого.

Словно земля сама
кровью течёт навстречу
небу, пока зима
заболевает речью.

Видит ли Бог свечу
нашу — под сивой бровью?..
Так я во сне кричу
или молчу — любовью.

* * *

Растение воды восходит на морозе
из древа, из стекла, из медленной земли:
и листья, и плоды, и плоские полозья,
которые на свет как стебли потекли.
Какие хрустали — нутро и оболочка
сцепились и, сверкнув, оставили следы:
и голубой зрачок, и лопнувшая бочка —
дощатая звезда и мощь сухой воды.
Разлом её и рост посмертный, и цветенье,
зеркальные сады и память бытия,
и явленное нам иной души растение ...
И варежка твоя. И варежка твоя.

* * *

N.Z.

Слёзка солью присосётся,
и не видно сквозь ресницы —
против сердца, против солнца,
кто снегирь, а кто синица.

И в саду богоопасном
мы на пару с небом стынем —
то ли синее на красном,
то ли красное на синем.

* * *

Света светлее, больше большой белизны —
облако это ты видишь с другой стороны.
Время оттуда заметнее. Вот синева
стужу ласкает — и я обнимаю дрова,
чтобы к нагретейшей печке прижаться щекой:
сивый и бледный, печальный — уже никакой.
Кто-то Вселенную вывернул — в страшный мороз —
всю, наизнанку, как варежку эту, от слёз
мокрую, или от снега, — ознобу в упор,
чтобы увидеть основу узора: узор,
распространяясь, сужается здесь до петли —
ниточки красной, торчащей из белой земли.

* * *

В снежном поле пробил тропку.
Дома яблоко поцеловал в попку.
Есть не стал. Положил обратно.
На тарелку. По стенам пятна
побежали, как в саду. Ко мне.
От меня. Зимой. В тишине.
Здесь. В деревне. В моей стране.
Здесь. У неба на самом дне.

* * *

Окно состоит из неба,
дерева и стекла,
подоконника с крошкой хлеба,
чтобы птичка его взяла
и склевала — и улетела
через сад в самый главный сад.
Чтобы ты подсмотреть успела:
ах, куда они все летят...

* * *

Кто тебе смотрит в спину,
долго глядит в висок?..
Только рубанок двину —
око в доске, сосок
зрячий — сучок древесный,
тесный, тугой, прекрасный —
это зрачок небесный,
карий, медовый, красный
до черноты восточной —
мучит глазным разрезом —
сладкий, нездешний, точный,
вылизанный железом:
всё, что на этом свете
в бездну — скользит ползком, —
дерево после смерти
видит одним глазком;
палец его наполнит
жизнью — накроет весь:
всё, что он вечно помнит,
всё, что незримо здесь.

* * *

В разрывах облаков не высота —
слезы прозревшей русская верста,
сосновый бор, как Пушкин многотомный,
и ты у смерти — нищий и бездомный
до крика, до нательного креста.
Показывает звёздами зима
Высоцкого дворовые аккорды,
и тянется в зияниях аорты
слезами прозревающая тьма.
Репейника хрустальная тюрьма.
И снега неподъёмная сума.
Есть в поле над равниною бездонной
у времени открытые места,
и тополь, одинокий и огромный,
как брошенная Богом красота.

* * *

И подо мной, и надо мной
белее боли головной
метель вытягивает поле —
и Млечный Путь устами боли
молчит и пьёт по Божьей Воле
себя из бездны ледяной.

* * *

Соберут мои старые валенки
на снегу — по напёрстку — проталинки,
выпьют сладкую водку сорочью,
чтоб на печке проплакаться ночью.

* * *

В детстве на дереве в небе сижу,
с неба на землю, как птица, гляжу.
Птицы другие проносятся мимо,
значит душа моя неуследима.
Долго смотрю я на землю опять,
чтобы глазами её целовать,
плакать на землю глазами,
капать дождём и слезами,
чтобы в любое большое тепло
дерево вместе со мною вошло.
Чтобы оно не качалось,
чтобы оно не кончалось.

* * *

Какие высятся морозы...
Увеличительные слёзы
вжимают в сердце высоту
другую, страшную — не ту,
всю оперённую сияньем,
а главную, когда она
опалена иным сознанием
и до прозренья сожжена.

* * *

Шаг ли в сторону — сразу в снегу утонешь,
прямо в вечность потянут озноб и дрожь:
то ли небо твёрдым лицом не тронешь,
то ли землю валенком не найдёшь.

Прямо в небо с крыльца — в белизну по брови,
белизна в тебе — по зрачки, и стоит зима
в снегирах твоих, чтоб хватило крови,
просто красного — не сойти с ума.

За минутной — как вкопанная часовая,
и секундная настрижёт просвет.
На утёсе стоишь: вот река Чусовая.
Дальше — времени нет.

* * *

Без тепла
светит любое чудо:
смерть прошла —
новую ждать откуда?

Жизнь всегда
между двумя зажата,
как вода
в проруби, страшновата.

А в горсти
нежной — прозрачна, млечна,
чтоб нести
вечно живую — вечно.

* * *

Ах, эта птичка, как её
мне разглядеть ... Ах, эта птица ...
Ослепнуть, чтобы видеть всё,
что ненасытных глаз боится.
Чтобы война, война, война,
война, война, война ослепла —
и шелестела тишина
из пепла музыки. Из пепла.

* * *

Что-то схожу с ума.
Вижу твои следы.
Кто-то тебя, зима,
вылепил из воды ...

Лыжники кругая
в поле дают. Лыжня.
Кто-то тебя, земля,
вылепит из меня.

Небо — на вдох — ловлю,
словно тебя леплю
кровью, глазами, ртом
в воздухе золотом.

* * *

Озеро обмелело. Теперь оно,
сузив глаза, видит себя в прицеле
уток диких — им не темно:
поцеловали в глаза — и сели.

Время стоит в лесу без исподнего,
вечером вечность хочет лесной малины.
Озеро завернулось — из-под него
светится оголённое тело глины.

Тело моё, тело твоё — одна
глина, которую тронем и вспомним снова.
Тёмная ночь до того бледна,
что на губах побелело слово.

Чтобы прощай прошептать до сна,
до золотой — навсегда — разлуки.
Видишь, к воде наклонилась она —
моет лицо и руки.

* * *

Душа на морозе в губах шелестела
и выдохом долгим была.

Её шаровое прозрачное тело,
сверкая, сгорало дотла.

Проплакана очередная пропажа,
и звёзды — в осколках стекла.
Но выгладит щёки шершавая сажа —
у инея сажа бела.

Живое из нежности, смерти и дрожи,
из холода, слёз и тепла.
Чем больше ты умер, тем время моложе.
Такие дела.

* * *

Лес прислонился к снегу —
белый упал с ветвей.
Зверю и человеку
стало в лесу светлей.

Стало заметней с неба,
сколько пекут из снега
глины на бугорках
ни у кого в руках...

Страшно толкает в спину —
новая благодать:
снег переходит в глину,
чтобы руками стать
Божьими...

* * *

Одинокий старик
копит последний крик.
Дверца открыта — печь
знает иную речь...

Кто там стоит оплечь? —
Очи закрыть — и лечь...

Только огню видна
тьма... А за ней одна
страшная тишина.

* * *

Если найдёшь меня,
я тебя обниму.
Видишь, ведро огня
выплеснули во тьму.

Это костёр. Твоя
тень шелестит во мне,
полная бытия,
вызревшего в огне.

* * *

Лапки, веточки сорочки
пишут то, что станет речью,
на снегу последнем. Ночью
очи плачут человечьи.
Очи волчьи тоже плачут,
очи заячьи трепещут
и под веки звёзды прячут,
и глядят. И небом плещут
вёсла клёна или бритвы
прошлогодней стрекозы,
чтобы вверх текли молитвы
золотым путём слезы.

* * *

Всё гуще книга в дереве. Она
растёт сама собой в себе. Весна,
даруя птицам нежный купол сада,
цветущей смерти медленно глотнув,
кончается. И в небо тянет клюв
живую букву шелкопряда.

И шелеста грядущего надсада,
и переплёты веток, и слюна
зеркального земному раю ада —
всё паутины зыбкая громада,
где, стиснутая светлой силой взгляда,
густеет книга в дереве. Она
не тронута, но Богом прочтена.

* * *

Сгибая ветер в две погибели —
в деревья, в ветви, в листья, в щели, —
в воде дожди себя увидели —
и обомлели, и прозрели,
и ознобили зобик зяблику,
и так возликовала жалость,
что к оторвавшемуся яблоку
большая яблоня сбежалась.
Так отраженье отрывается
от босоногого предмета
и прямо в озеро вжимается
невероятной силой света.

* * *

Л. Бабенко

Камень места не находит
ни себе, ни сильным водам
и по кругу душу водит,
как траву, по огородам.

Две недели верба вяжет
зябким ангелам перчатки.
И заплачет Бог и скажет:
мы бессмертны. Всё в порядке.

И отпустит вербу с вербы,
и плывут над вербой вербы:
мы бессмертны. Мы бессмертны.
Мы бессмертны. Мы бессмертны.

* * *

Капля слизывает себя долго.
Удлиняется. Словно Волга,
слабосильная, сгоряча
Каму слизывает с плеча.
Без стекла, без горсти, без глины
капля тянется как сосуд,
из которого очи пьют:
из артерий, из сердцевины
бытия — и себя до дна
выпивают — и в горле сухо.
Это только начало слуха,
и щекочет глухое ухо
капля новая из окна.

* * *

Золото. Серебро. Алмаз —
пушкинский щучий глаз.
Остальное — карась, плотва.

Если водой в эту воду лечь,
то в тебе проплывут слова
и большой, как Россия, лещ.

Вот такая простая вещь.

* * *

Сон после жизни — мука,
всё — пустота и дрожь,
ни тишины, ни звука —
небом одним поёшь.

Мёртвому поле снится —
вот он стоит, немтырь:
в левой руке синица,
в правой руке снегирь.

Новые стихотворения
(2012 — 2015)

* * *

N.Z.

Цветом черёмухи глаз припорошен.
Кровь кувыркается, ищет ходы
в мальчике... Медленный выхватил коршун
ложку серебряную из воды.
В небе запутавшись, бьются вороны:
вечно рыдают они, хохоча.
Озеро бьёт себе лодкой поклоны,
слушая глины подземные стоны,
эхо взойдёт — содрогаются клёны,
стряхивая невеличек с плеча:
кровь кувыркается, кровь горяча.

* * *

Ночью тебе хорошо, одиноко.
Думаешь Бога и чуешь в ответ:
время большое светлеет с востока,
местного времени нет.

Боги сюда залетают от веку.
Дождик спускается с неба толпой —
видишь: а с крыши, с короткой трубой,
по одному человеку.

Птицы ни слова ещё не сказали,
но понимаешь, что нынче во мгле
вечности вечной глаза завязали —
и привязали к земле.

* * *

Тень надвигалась отовсюду —
подобно ужасу и чуду,
и под щеглом чертополох
клонился влево, а направо —
опора воздуха, держава —
стояло облако как Бог.

* * *

Так пасмурно, что пахнет жестью.
Бараном. Пылью. И — темно.
И в небе чёс. И тучи с шерстью.
Щепоть. Щипок. Веретено.
Веретено с крестообразной
основой, чтоб разъединить
нечистый свет и мрак прекрасный —
и ускользящую нить.
В просветах — нить. Дымком, овчарней
потянет глубже и печальней —
и со снежком бараний бок
ресницей чешется и длится,
и в половицу бьёт моток,
как будто кто-то, видит Бог,
из-под земли сюда стучится.

* * *

Сёстры мои, беда:
я пропадаю весь.
Небо, земля, вода,
вы остаётесь здесь,
чтобы меня любить,
чтобы меня забыть,
чтобы меня убить
вечностью, где мне быть.

* * *

Леска поёт на ветру.
Леска поёт на ветру.
Словно кукушка: умру.
Нет, говорит, не умру.
Слышу за тучами вздох.
Это за тучами Бог,
может быть, прямо в раю
удочку слышит мою
и говорит: не умру,
нет, никогда не умру.
Леска поёт на ветру.
Леска поёт на ветру.

* * *

Ласточки учат строю
ласточек молодых —
не пчелиному рою,
а порядку иных
множеств: встаёт держава
нежности величаво —
ангельский алфавит...
Видишь, вторая справа
мама моя стоит.

* * *

Иду-бреду обутый в глину,
мальчишка, выросший из глины,
и узнают меня осины
как переходящую осину.

Я вышел босиком из дома —
вода стояла гуще дыма,
дождь занимался, как солома,
огнём невидимым хранима.

Деревьям здесь везде дорога,
и каждой дрожью смотрит в оба
неведомый создатель бога,
до слёз исполненный озноба.

* * *

Крапива старая, как тряпка:
роса.
Птиц ледяные голоса.
Не то чтоб холодно, но зябко.
Как будто с неба чья-то лапка
перебирает волоса
на голове у рыбака,
когда с башки съезжает шапка,
как с неба в воду облака ...

* * *

Лес умыт.
Трава умыта.
Белка спит.
Она убита.

Коршун,
бедную, найдёт —
прямо в небо
унесёт.

* * *

Не смотри на сад в окошко
ночью бог пришёл сюда
и хрустит прозрачной ложкой
в бочке ржавой от стыда
так плесни дождя в окошко
чтоб запомнить навсегда
как в траве незримой кошкой
умывается вода
пронесёшь снежок горячий
с коркой неба мимо рта
слепота осталась зрячей
наше зренье слепота.

* * *

Небо сжимается до размера
зрачка
серой цапли, жизни серой,
ангела-дурачка.

Дурачок деревенский ходит с палкой,
весь в городском пальто,
жил бы да жил одной рыбалкой —
да не клюёт никто.

А кому-то бог, дурачок везучий,
ниже воды своей —
на крючок, на зрачок колючий
насаживает пескарей.

* * *

Всё, кроме смерти, случилось
и разлучилось — с тобой.

Жизнь умирать научилась —
стала судьбой.

Кошка слезами умылась,
вспыхнув двойною звездой.

Птица во мне растворилась.

Всё, что в воде отразилось,
стало водой...

* * *

Яблоко в яблоне — чем не житьё:
сжалась в комочек Вселенная в чреве её.
В воздухе светлом живая душа солона —
сладкое было питьё.
Имя своё позабыла, потому что твоё
помню: оно — тишина.

Красный татарник вдоль берега в воздухе рвы
выгнул до неба и перебуравил погоду.
Ржавые гуси, рыдая, как гвоздь, — из травы
тянутся, тянутся, тянутся, тянутся в воду...

* * *

Смерть пахнет голодом и глиной,
и осенью, когда нежны
и дым воды, как выдох длинный,
и тёмный пламень глубины.
Когда беды недетский лепет
уста разлепит и сомкнёт.
И серебрится чёрный лебедь,
когда вода водой зевнёт.
Когда в воде видны проходы
огнеопасные — туда,
где, как в аду, пылают воды
и, как в раю, растёт вода.

* * *

Осиротевшая от страсти
бледнеет нежность в высоте,
когда из тьмы выходят части
земли и неба — на кресте
окна, от Господа в версте.
Где знают ласточки и дети,
вдевая в сон дневной полёт:
Бог перетрогал всё на свете —
всё, что от смерти не умрёт.

* * *

Осыпается время в лесу.
Приближается время иное.
На подлёте оно. На весу.
Ледяное.

Вот пришло —
и стоит под окном человеком.

Как за смертью светло,
знают листья под снегом.

* * *

Осень. В деревьях куски воронья.
Листья упали — увидели глину.
Зренье моё отстаёт от меня,
Смотрит мне в спину.
Кабы не знать, что умрёшь навсегда,
смерть попевала б за смертью едва ли.
Я бы на воду смотрел, как вода.
Вы вспоминали б меня иногда —
только б за смертью меня посылали ...

* * *

Учится забвению Овидий.
Спит Гомер — глазами говорит.
Свет ослеп, когда себя увидел
в зеркале плакучих Персеид.

Спит кустарник — учится морозам.
Первый иней учится земле.
Топят печи каменным навозом.
Держат шерсть колючую в тепле.

Пустоты и моря нынче вдоволь.
Смерти научившийся, как ты, —
отовсюду виден только тополь,
не нашедший в небе высоты.

* * *

Утром была зима.
Днём наступила осень.
Чтобы совсем не сойти с ума,
лягу в восемь.
Или в шесть.
Чтобы приснилось лето
или вечность, которая есть
тьма — продолжение света.
Серая цапля во сне летит
сквозь высоту в ресницы.
Слышно, как сердце стучит
в птице...

* * *

Вспыхнет в воде вода —
и задымится лёд.
Кажется, никогда
больше не рассветёт,
если в воде вода
воду водой сожжёт...

* * *

У дерева внутри
мерцают янтари,
когда густеют смолы,
как вечные глаголы,
когда свистит метла
и в воздухе — светла,
сосновая — зависла
осенняя игла
божественного смысла.

* * *

Гуси изображают снег:
он кричит, боится — растает.
Если близко подходит зверь или человек —
он срывается и улетает.
До весны. На один на глубокий вдох
человека, воды...

И вот — Вернулся.
Обнимает небо и ждёт, чтобы Бог
улыбнулся...

* * *

Уже отвесны небосклоны,
и в каждом дереве кресты.
Как много в осени иконы
и светлой русской пустоты,
с релъём пустившейся по мукам
у листопада на хвосте.
И ходят птицы друг за другом
от Господа в полуверсте
в невероятной высоте.
И мыслит пашня вечным плугом —
и гнутся нежные пласты,
как в океане полукругом —
от дуновенья высоты.

* * *

Любви и смерти равный,
беспамятный, родной —
репейник нарукавный
таскается со мной.

Пчелиная охапка,
прореха, шов на шве —
летучий шарик, шапка
щегла на рукаве.

Колючка, сор, приبلуда —
цепляет при ходьбе.

Прилипчивое чудо,
и мне сегодня худо,
и я прилип к тебе.

* * *

Листья опавшие. Тополь худой.
Выглянет ворон из неба на иней —
взгляд замерзает в бочке с водой.
Пахнет пустыней.

Осень. Леса потекли в решето.
Золото жухнет, ржавеет, рыжеет.
Здесь красота превратилась в ничто —
и хорошеет.

На воду глаз положили с небес —
алая синь отворяется в стужу,
так на запястье открылся порез:
больно — а кровь не выходит наружу.

Хлеб вспоминает полоску ножа:
волосом сивым насквозь приласкает...
Бездна недвижимую осень, дрожа,
держит и не отпускает.

* * *

Осень. Уже не больно.
Выметен внешний вид
внутренним: безглагольно
дерево говорит —
голое, потайное,
вышедшее на свет —
подлинное, иное
в листьях, которых нет.

* * *

Осенью умер дрозд
под кустом. Он обьелся звёзд —
дёргал рябину-калину.
Веером крепкий расправил хвост,
сивый наполовину.

Крылья раскрыл — лежит,
мёртвыми лапками в середину
мира вцепился — и в смерть летит
и обнимает глину...

И обнимает глину.

* * *

Сколько ознобов зрячих
вызреет на бегу...
Розы следов собачьих —
нежные — на снегу.

Кто-то скулит. Однако,
холодно, волчья сыть ...
Это поёт собака,
чтоб не заговорить.

Небо растёт из нёба,
чтоб золотую нить
на глубину сугроба —
лапу подняв — вонзить
в земаю...

* * *

Щеглам — мои глаза и в рюмочке роса.
Беззубая вода, младенческие дёсны
нежнее глины. Глиняные сосны
вдыхают с шумом небеса —
и слушает себя в слезах оса.
И слушает себя в слезах, шальная,
своё нытьё, худая и сквозная
отвёрточка в полоску, саморез —
целует лес.
И слушает себя вода в воде и слышит,
и к небу прижимается, и дышит.
И я ищу ресницами щегла.
И смерть моя ещё не умерла ...

* * *

Я никогда не увижу щегла.
Смерть улыбается — не умерла:
прямо из вечности пьёт по напёрстку.
Хлебные крошки смахну со стола
в горстку.
Спи во мне долго: такие дела,
если умрёшь — мы не встретимся снова:
Я никогда не увижу щегла —
вечно живой — золотого, живого.
Я не увижу щегла.

* * *

Стою под снегом у огня.
Нет, над огнём. В огне. И в темя
ознобом вышним дышит время
и небом думает в меня.

* * *

Северной стороной,
медленной, ледяной,
темя моё ласкает
небо: идёт со мной —
не отпускает.

Зимняя муха. Не
кажется ли: в окне
это не муха — птица
тенью её во мне
в темя моё струится.

Это закат такой.
Это его малина.
Вечностью и тоской
волю мою, покой
держит живая глина.

Время легло сюда
инеем мягче хлеба.
Всюду болит вода.
И с появлением льда —
мёртвый, живой — всегда
я под рукой у неба.

* * *

Кажется, всё в порядке.
Счастья на свете нет,
только его остатки —
ветер и зимний свет.

Иней растёт на грядке.
Время пришло сюда —
всюду его осадки
в форме кристаллов льда.

Видишь, озяб на крыше
кровельщик, бог, мужик.
Ты подними повыше
крылья и воротник.

* * *

В глухом году, в пустом саду
струятся вверх сухие слёзы.
Берёзы призраков. Берёзы.
В осеннем пасмурном году.
Над полем стонут лесовозы.
И небо — всё — течёт сюда.
И жизни сладко быть печальной.
И в слепоте своей зеркальной,
в своём беспаятстве вода
до слёз додумалась — до льда,
светясь в потуге вертикальной,
где, снегом падая на лёд,
сама себя не узнаёт.

* * *

Темнеет. Осени зола
светлей, чем с запада погода.
Теплеет. Вечность отошла,
в слезах отпрянув от стекла,
и проступило время года,
и влага в бездну огорода
с рубахи белой потекла,
как незаконная свобода
из глаз двуглавого орла.

* * *

Синица осенью вернётся —
за окна трогает дома.
И снова белый свет качнётся —
зима по имени Зима.
Синица позабыла лето,
сидит на ветке — ждёт ответа,
так смотрит новая вода,
и кажется, с другого света
она прихлынула сюда.

* * *

Я умер. И это не снится.
Я помню. Везде и всегда.
Скажи меня: просит синица.
Скажи меня: просит вода.

И этому горькому чуду
я лёгкие слёзы утру.
Скажу — и себя позабуду.
Скажу — и от счастья умру...

* * *

Там, где встречается время
с вечностью и тишиной,
каждому камушку в темя
дышит Господь ледяной,
ветер становится лесом,
вкопанным в землю, волной —
озеро пахнет железом,
пятой последней струной
и пятерней и десницей,
пятью Полярной Звезды...

Ветер срывается птицей.
Это дрозды.

* * *

С разбитой, нетронутой рожей —
шаг в сторону, в сторону шаг —
идёшь себе, местный прохожий,
стоишь себе, местный чужак.

Тебе это место знакомо —
другого уже не найдёшь.
На два исправительных дома
ты дважды, счастливый, живёшь.

И ныне, одетый в больницу,
из бледных не выпустишь уст
сеницу по имени птица,
калину по имени куст.

* * *

Тычется в темя иная вода.
Дышит прекрасная страшная птица.
Смерть тебя выродит прямо туда,
где нерождённые жаждут родиться.
Чувствуешь: трогают руки, плечо,
любят лицо, вещество лобовое ...

Вот и узнал ты, как горячо
плачущее и живое.

* * *

Дров объятье, когда их несёшь:
прижимаются — чувствуешь леса дрожь.
Дерева убиенного годовое кольцо
прижигает смолой лицо.

И воды, колодезной, ледяной
да разбавленной до хруста господней слюной,
три пощёчины утренних, чтобы жечь
рот, разжёванный в речь.

Хорошо, когда топится в доме печь.
Хорошо. Можно, крылья расправив, лечь.
Ветер заглядывает, до слёз закусив губу,
в печную трубу.

* * *

Море приходит сразу
во множественном и единственном числе.
Больно глазу —
и он между капель каплей дрожит на весле,
отделившись от тела,
как душа: к душе
потекла, полетела —
неупиваемая, потому что уже
море ушло, и некому сказать здравствуй, и на
дне остаётся соль, её седина,
камушки, раковинки и гольши
размером с душу, когда она
умирает без другой души ...
Камень подыми и на него подыши.

* * *

Что за повесть Ты пишешь на моём лице:
в зеркале — книга, оконная рама —
читаешь не слева, не справа —
направо, налево, а прямо,
понимая, что будет в конце.
Временем пишешь. Испещрено
всё, что смерть пустотой наполнит.
Зеркало ахнет, впусивши в себя окно.
Зеркало знает. Зеркало помнит.

* * *

Понимают дети: вот дождь, вот снег,
вот Господь молчит — себя созерцает
в зеркале жизни. Вот человек —
за спиною смерть, и она мерцает,
отражаясь в нём, затекая в рот.
Только дети знают, простившись с речью,
как в толпе одна тётка смерть идёт —
одинёшенька и себе навстречу.

* * *

Дым осиновый
возвращает глаза
на место, в горечь.
Это слеза.
На место — в ветер,
потом в огонь.
Сотрёшь горячую —
жжёт ладонь.
Сотрёшь, как море,
как тень, как дым,
как свет осиновый,
как зимний Крым.
Сотрёшь испарину
и вспыхнет соль.
Как Бог, всю землю
обнимет боль.

* * *

Кто в золотом наклоне,
выпивший высоты,
плачет в твои ладони,
выхолодив персты...

Это чужие капли —
разве что боль одна.
Звёзды стоят как цапли,
если смотреть со дна.

Так лучезарны пясти:
лапка, в воде дупло.
Счастье моё — ненастье,
выплакавшись, прошло.

Здравствуй, уже без речи
солью сверкнувший звук.
Здравствуй. Мои невстречи
горше твоих разлук.

* * *

Чем больше неба, тем меньше птиц,
тем больше белого, речных гробниц.
И пчёл, и золота внутри ресниц.

Накинешь небо — в снегу платок —
на плечи старые, чтоб не продрог.
Страну огромную — на свой роток.

Страну огромную не обойти —
обнимешь, бедную, Господь прости.
И снег, как сердце, несёшь в горсти.

* * *

Между белым и белым белеет
чёрной Библии каменный снег.
Белым опытом Неба болеет
с побелевшей башкой человек.
И метельное белое поле
прижимает страницу к окну —
и струится, как письменность боли,
голубая тропа в глубину —
до земли, до нетронутой глины,
до соснового в глине ребра ...
До янтарной её сердцевины
до морского её серебра.
Всё становится небом, и крылья
не нужны никому, оттого
что мы небо глазами открыли
и вросли, умирая, в него.

* * *

Снежное поле с собой поволок
в небе по пояс — вздуваются вены.

Поле само себе пол, потолок.
Поле само себе стены.

Вытащишь с лесом туда, где поля
небом становятся. Облак
обозначает: земля,
обморок, валенок, волок.

Тонешь по самое по не могу,
топчешь скрипучее сердце алмаза —
в лопнувшем небе, в снегу,
в голой материи глаза.

* * *

Заглядывает свет в стеклянные шары.
Морозы на дворе. Мороз по коже.
Втекает небо в белые шатры.
Мороз как пламя медленное. Боже,
рождение и смерть – одно и то же,
направленное в разные миры.
Какая сила их соединит,
иззябший грех выстуживая в стыд,
и выплеснет стекло, как взгляд и слёзы,
в пылающие синие берёзы.

* * *

Отщипнёшь ли от моря слезинку,
или чёрное море утрёшь.
Тянет сердце по жилам волынку —
это кровь упирается в дрожь.

Нет такой тишины, чтобы слово —
слово главное произнести.

То ли жаждешь пространства иного,
то ли время теряешь в горсти.

Одинокую нянчишь свободу,
смотришь в небо — в проколах ресниц —
сквозь тяжёлую толстую воду,
окуней отличая от птиц.

* * *

Откуда ветер?.. Дерево — с погоста.
Листва вошла в дыхание Творца.
Шум нарастал, как тень иного роста:
ветвей — в округу, глины — в мертвеца.

Шьёт легион иголок окоёмы
и раздвигает круглую сосну,
и ветер входит — словно хор — в хоромы
и тянет ноту неба — в глубину.

В подвалы света, в тусклое свечение
корней берцовых и костей пустых,
когда звучанье, мучая значенье,
околевает в смолах золотых.

* * *

Вот Млечный Путь. Вот потолок.
Зима. Декабрь. Деревня. Чудо.
Откуда в доме мотылёк? —
дрова оттаяли. Оттуда —
из глубины древесных сил,
из-под коры осины звонкой,
где жар печной её раскрыл,
как книгу неба над заслонкой,
где тянет воздухом иным
и чья-то тень встаёт со стула.
Где смерть, глотая горький дым,
живую бабочку вернула.

* * *

Душу выхолодит стыд —
ищет всюду середину.
Валенками говорит
небо, тронувшее глину.
Небо нюхает сады.
Кто-то плачет в белом дыме:
тянет стужа из воды
имя смерти — жизни имя.

Лёгкий иней воду пьёт,
тишина себя вдыхает:
в левом ухе дождь идёт —
в правом бабочка порхает.
Человек в снегу болит,
прямо в сердце зябнет птица.
Отовсюду лёд глядит —
на себя не наглядится...

* * *

С валенок небо, как пух, обмету
веником здесь, у порога.
В доме запахнет — до света во рту —
горечью снега и Бога.

Горечью света сквозит чистота,
девочка дышит на свечки.
Облако слов висит у рта,
ангел обнимется с тенью кота –
и засыпает у печки.

* * *

Наденешь летние галоши
и выйдешь в небо — ночь светла.
Душа ничья, душа в ладоши
легко, как в лодочку, легла.

Она не снег — и снег не тает,
а если дунешь на него —
душа ничья, она летает,
как снег, — и больше ничего.

* * *

Мёрзлые вишни. Собачье зверьё.
Чёрные с жаркой малиной галоши.
Птица не трогает имя твоё —
смотрит в ладоши.

В небе, ослепший, в снегу — постою.
Стужа такая —
имя не трогает птицу свою
и отстаёт, от себя отвыкая.

Скажешь: синица, — и лопнет стекло:
всё, что белеет, водой отзовётся.
Незамерзающая, из колодца,
цепью пронзённая, — в лёд разожмётся,
на вороток наматает сверло,
чтоб в кулаке не болело тепло.

* * *

Спят — не спят, потом зевают,
смотрят в небо на бегу:
кто-то время засекает
на непаханом снегу.

Спят — не спят, не умирают,
умирают от зимы,
детям слёзы утирают
вдоль трамваев и тюрьмы.

Пробегают мимо, мимо
с белым камушком в крови
в горечь мёда, в горечь дыма,
в горечь смерти и любви.

* * *

Север-юг, запад-восток —
это птичьи зрачки:
поворот головки, потом подскок —
зимней земли толчки.
Времени толк. Пересверк. Очки
неба. Плавник слюды.
Словно певчие пузырьки
воздуха из воды.

* * *

Вот говорю себе
с бабочкой на губе:
лысый, седой, потёртый,
не приходи сюда
ты, потому что — мёртвый,
может быть, навсегда.

Пусто. Просторно. Поздно.
Снег, что ли, вышел весь ...

Смерть моя плачет здесь —
и по ночам морозно.

* * *

Чувствуешь, муравей
в сердце или в нагрудном левом.
Спишь на траве
между землёй и небом.

Не даёшь
тёплым соприкоснуться.
Всё остальное — дрожь.
Главное, не проснуться.

Спят в тебе
небо с землёй — устали.
И летишь
мимо себя – и выше.

Гавриил
тронет тебя десницей:
вот — человеком был,
а оказался птицей.

* * *

Я смотрю в себя в этом месте, здесь,
отовсюду смотрю, как птицы.
Не видать меня. Может, вышел весь.
Просто выдохся сквозь ресницы.

И на левый берег, и на правый брег —
на откос без слёз, где стоят сарайки,
утром выпали целиком, как снег,
белые чайки...

* * *

Дерево вышито, как водоём:
ни высоты, ни дна.
Две пустоты, постоим вдвоём —
осень у нас одна.

Частью бездны сквозим, пока
чувствуется озноб.
Пересыпаются облака
медленные — в сугроб.

Будем слушать, как пьёт вода
Бога, и в тишине
по ночам шелестит звезда
в дереве и во мне.

* * *

За окном полыхнут оцинкованные
два ведра —
умываются, бездной окованные,
ледяные пеньки серебра.

Коромысло прогнётся, распятыце,
и врезается в лоб тетива —
так, раскинувшись, ястреб попятится,
чтобы в крылья ушла голова.

В темноте прогудят оцинкованные.
Донесёшь этот крест как-нибудь
до конца.
Бабы руки ведут вдоль небес — нецелованные —
Млечный Путь
от Творца до Творца.

* * *

Ночью ударит в дверь
яблоня кулаком
или башкою зверь,
или журавль: теперь
ходят они пешком —
клювом стучатся, да —
стукнут и ждут, когда
с неба пригнёт сюда
медленная вода
облако с молотком ...
Вспыхнувшим молоком
всюду сквозь сон гроза
смотрит тебе в глаза.

* * *

Зимой светло. Зимой светло,
когда ты смотришь за ограду
и знаешь Божьих глаз громаду.
Когда навстречу снегопаду
из-под земли растёт стекло.

Так много белой тьмы в лесу,
что имоверной силой взгляда
не остановишь снегопада,
но звёзды держишь на весу.

Отдашь собаке колбасу —
тоске с глазами винограда.

Она похожа на лису...

* * *

Вобьешь ли в небо звонкий гвоздь,
Затопишь печь, поймаешь в горсть
травы прилипчивой охвостья —
один в дому: стучится гость.
Один в дому: крадётся гостья.

Один в дому. А за столом,
в окно являясь напролом,
качают вечные сирени
в очах сиреневые тени.

И смерть встаёт из-за стола —
легко, одна, как дождь отвесный,
и трогает до белой бездны,
до чёрной шерсти — зеркала.

* * *

Топится печь. Гудит.
Птицей сосна поёт.
Дымом огонь глядит.
Дым из трубы идёт.

В небо. Прямой, пока
горький, пока прямой.
Белые облака —
зрячие, Боже мой...

Пусто. Тепло в доме.
В поле лыжня. Петля.
Ясно теперь, кому
смотрит в лицо земля.

* * *

Вернёшь ли Господу рубаху —
упрёшься в стужу, как в стекло.
Погладишь снег, потом собаку —
большое рыжее тепло.

Погладишь белое над бездной,
погладишь небо с рыжиной,
сухой огонь в коробке тесной
с последней спичкой ледяной.

На корточках костёр наладишь.
Обнимешь пламя высотой.
Погладишь свет и снег погладишь —
горячий, рыжий, золотой.

* * *

Вон сорока пошёл. Куда пошёл,
кроме Бога, не знает никто.
У неё камзол, чёрно-белый камзол.
Нет, с зелёным подкладом пальто.

Под неё с небес нависает лес,
если крепко башкой мотнёшь.
Темноту во льду шевельнёт порез —
и теченье покажет нож.

Ах, по воздуху хорошо пешком.
Одинока — да не одна.
Синевы глотнёшь да заешь снежком,
и ещё раз — уже до дна.

* * *

Через ночной огород
невысоко над землёй
стрелкой, зигзагом, петлёй,
вздрагивает, как сердечко, плывёт
свет убывающий, полуприкрытый,
света немного — щепотка, щепоть,
словно с фонариком к дому идёт
ангел, мальчишка, Господь,
тьмою омытый.

* * *

Как высоко и медленно, и нежно,
и хорошо кружится голова,
и прямо с неба снег растёт неспешно,
как соль в земле, как в воздухе слова.

И снег встаёт: встаёт, а не ложится,
полуобняв заборы и кусты,
и в синеве, как голова, кружится
светлее смерти, выше высоты.

* * *

Колонны дыма, серебра,
небесной пыли. Со двора
из смерти в жизнь просвет мгновенный:
сеницы с Господом игра —
сеницы необыкновенной.
Однако холодно с утра.
Колодец в доме: два ведра
с водой студёной и нетленной,
и на стене среди добра
вон коромысло — из ребра
Вселенной.

* * *

Ломтик хлеба кладут на стакан.
Из-под век вытекают копейки.
Белый свет завернулся в туман
и уснул на садовой скамейке.
Залетает синичка в карман
телогрейки.
Крошки хлебушка, семечки, жмых.
Пригубить бы в пределах иных
два стаканчика чистого неба
неразбавленного, без хлеба.
Два. Тяжёлых. Гранёных. Пустых.

* * *

Голой ночью Господу не спится.
Сердце Бога, дрогнув клейким соком,
шевелинётся в дереве глубоком —
птица:
сердце жизни, дикой и короткой.

Прямо из морозной дымной раны
звёзды наливают твёрдой водкой
ужаса гранёные стаканы.

Плачут очи нашей общей боли:
видишь, светляки мигают в поле —
в сердце смерти, вечной и короткой.

Речка шелестит под лёгкой лодкой.

* * *

Зеркальце волчье слоится, двоится, троится,
множится синим, зелёным. Как небо ночное. Оно
воздух морозный сожмёт — и трещит роговица.
Очень темно.

Зеркальце заячье выплеснет небо испуга
в нежное небо, которое снегом идёт.
Смерть просыпается, трогают окна друг друга.
Смерть просыпается – и появляется с юга:
перетерпела себя — и, родная, живёт.
Вот...

* * *

За корень, вложенный в долину,
за нежный хрящ, за пуповину
сосну летящую возьмёшь,
когда ладонь наполовину
в живую глину окупёшь.
Пока течёт земля и длится,
плоть во плоти довоплотится
и смерть бессмертная умрёт.
И в дереве летящем птица
замрёт от счастья — и дивится
на неподвижный свой полёт.

* * *

Кто-то прошёл по воде.
В лодочку стукнула палка.
Яму костра в темноте
роет ночная рыбалка.

Небо в неё потекло —
в ясный сосуд без сосуда.
Спящим сегодня светло —
обыкновенное чудо.

Чиркнула спичка. Прости,
Господи, дело простое:
выпорхнуло из горсти
чьё-то лицо золотое.

* * *

Завируха. Фонарь в сторонке
порошковое пьёт стекло.
Поле рвёт из себя воронки,
чтобы небо сюда текло.

Подними воротник повыше —
всё здесь небом вознесено.
Над деревней летают крыши
или ангелы — всё равно...

* * *

Мерцает боль снаружи,
где светоносной стужи
все сорок сороков —
живой прекрасной смерти,
кристаллов строгой тверди —
испарина богов.

Ты умер — и проснулся,
и лбом стекла коснулся,
и ходишь за окном —
как боль твоя — снаружи,
где блещут очи стужи
божественным огнём.

* * *

Кровь родовая петляет, растёт,
делает выход и входы,
снится тому, кто уже не умрёт
от перемены погоды,
от перемены воды и времён,
берега и небосвода
или того, кто в воде отражён —
в самой последней — и небом сожжён
для продолжения рода.

* * *

Так натянута леска,
так натянута лето:
это плёночка блеска,
это кожица света,
а под нею без скрепы
золотые стремнины:
то ли многие небы,
то ли многие глины.

* * *

Вот ты умер, Саша,
а поёшь нежнее.
Может, песня наша
мёртвому слышнее...

Хочешь сигарету,
водку — минералку?...

Кого с нами нету —
того больно жалко.

* * *

Рыба вскричит, когда
с места взлетит вода —
просто собой всплеснёт,
Господи, и пойдёт
вверх, распластавшись вся,
даже смотреть нельзя —
больно: и птицы нет,
нет и воды, но свет
в коже своей воды
падает на сады.

* * *

Не на земле, а выше — вдоль земли
два мужика шагали в непогоду
и дерево упавшее несли,
как воду шелестящую. Как воду.

Особенно берёзу. На весу
плывущая, она, подобна чуду
и гибели, ещё была в лесу,
обозревая лес свой отовсюду.

И мёртвый лес сгущался в высоту,
и сретенье воды в могучем росте
без топора молчало в бересту
и, золотое, нежилось в коросте.

* * *

О. Богачеву

Трава растёт толпой.
О, сколько в ней народу...
Течёт сама собой,
изображая воду.

Она и есть вода,
зрачку и глине — скрепа,
особенно когда
она впадает в небо.

* * *

Вот картошку посадили,
и печёная — в ладоши.
Вот бродягу накормили,
чтобы Бога стало больше.
В лёгком поле. В роще тёмной.
В небе крохотном в стакане.
Чтобы тень была огромной
там, где жгут костры крестьяне.
На поляне. На поляне.

* * *

В. Месяцу

Зеркало долго струится из глаз,
женщина выйдет из платья —
смертью поплачет и скажет: сейчас
дерево здесь вырастает из нас,
стороны света сплетая в объятье,
словно сложившее крылья распятье
из темноты выжимает алмаз.

* * *

Е. Перченковой

Что-то пою в бреду —
песня меня поёт.

Тихо сквозь лес иду —
лес сквозь меня идёт.

Вытянем окоём —
кожу с корой сорвём.
Так сквозь себя вдвоём
с лесом на свет идём.

* * *

Щелчок по зеркалу, по чёрному стеклу —
и дробь ознобная, и рождество по коже:
так птичка ёкнула у гоголя в углу
из равнобедренной густой ветвистой дрожи.

Из сердца выжатого движется сильней
во тьму отверстую лавина алфавита ...
В лесное зеркало насыпан соловей
так глубоко, что зеркало разбито.

И слух кончается. И зрение ушло
в себя, как вдох, мерцающей на взрыдах.
И если взгляд врезается в стекло —
то это — выдох.

* * *

Округу, тронутую ртом,
и дрожь небес нечеловечью,
и холод Бога по предплечью,
и звёзды, сытые стыдом, —
всё припекает вечным льдом:
так дом потрескивает — дом,
наполненный горячей печью,
как речью.

* * *

Ласточка бьёт стрекозу
в пыль золотую, в слезу.
Шмель зашивается в мех.
Ласточка падает вверх —
в дымное солнце, в грозу.
В пыль золотую. В слезу.

* * *

Смотрит, смотрит непогода —
за окошком льёт и льёт.
Мёртвый кот четыре года
в тёмном зеркале живёт.
Знаю, видит он оттуда,
как во сне и наяву
я сквозь смерть его и чудо
в светлом зеркале живу.

* * *

Небо откроет рот
и тишиной поёт —
дрогнут сады и звёзды,
чёрных ветвей борозды —
в сердце, а из него
памятью переспелой
птичка поёт с того
света на этот — белый.

* * *

Сила жизни, сила боли —
человечья, божья, бычья.
Убивается в глаголе
и охотник, и добыча.
Сила воздуха мужичья
носит смерть в небесном поле.
Но в бессоннице-неволе
силой жизни, силой боли
тронет сердце лапка птичья —
и обнимутся в глаголе
и охотник, и добыча.

* * *

Сыну

Ресницами с зимы слезу смахнём —
соль мироздания едина.
Но холодно. Под снегирём
дрожит рябина.
Ночь снежная куда белее днём —
и, забывая, белая, о нём,
она темна божественным огнём,
как общий кровоток отца и сына.

* * *

Долгие слёзы найдёт озерцо.
Бог переплачет плохую погоду —
то есть себя. И, впадая в свободу,
запоминая любое лицо,
дует на воду.

Камень и глина — сердце одно:
соли подземной огонь, сердцевина.
Жизнью и смертью натянуто дно,
скатертью Господа — хлеб и вино,
камень и глина.

* * *

Качает кисточкой китайской
Бог, побывавший трясогузкой,
язык неслыханный и райский
переводя на росчерк русский.

На почерк голода и воли,
на алфавит тепла и света,
когда Вселенная в глаголе
идёт, как дождь,
и льётся в лето.

* * *

Туманом срезана земля,
и висаюТ тополя —
берутся небом ниоткуда,
где колосится, как звезда,
мозг мироздания — вода ...

И только Богом дышит чудо.

* * *

Ночью светло в отчизне —
снег перемёл между.
Выше земли и жизни
я у окна сижу.

Воздух от сердца — тесный.
Окна на снег легли.
Валится свет небесный
прямо на свет земли.

Дерево белым плачет —
красным в окно курю...
Неба не видно — значит,
с хлебом поговорю.

* * *

Может быть, в феврале,
скоро, когда-нибудь
тихо скажу земле:
телом моим побудь.

Я уже был тобой,
брошенный на убой —
в воду, в огонь, в распыл...
Просто тобою был.

Так я тебя любил...

* * *

Горькой была и сладкой
осень, когда украдкой
листки собирала —
красных осталось мало.

Шум тишины с востока,
шёпоты снега — это
внутренний голос Бога,
внутренний сумрак света.
Плачет беззвучно чудо —
воздух, как время, плотный,
чтоб серебрился всюду
ангел неперелётный.

Содержание

Каменные элегии

Из первой книги

«Ворохнётся в окне ветка...»	7
«Неба всё больше, мало...»	8
«На читку воздуха едва ли...»	9
«В пепельнице окурок...»	10
«Отвернувшись к стене...»	11
«Глазам хватает неба и земли...»	12
«Утки летят на восток...»	13
«Дурачок, дурачок...»	14
«Сухая гроза — что в завязке алкаш...»	15
«Птицы — в прошлое, в лето, на юг...»	16
«Деревня дымом в смерть заехала...»	17
«О, Господи, не умирай...»	18
«Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу...»	19
«Уже зима вбивает в землю гвозди...»	20
«Взгляд остановлен птицей...»	21
«Сорока на столбе...»	22
«У куницы...»	23
«Деревня пустила...»	24
«Проснёшься ночью — света нет...»	25
«Почти отмучившись, отмучив...»	26
«Земное притяжение с ума...»	27
«Ты легко поднимешь руку...»	28
«Собака плавает в пруду...»	29
«Поговоришь с водой...»	30
«Режет глаза в окошке...»	31
«Как долго лошадь пьёт из лужи...»	32
«Уши, особенно мочки...»	33
«Трава сказала — умираю...»	34

«А смерть осиной...»	35
«В воду врастают ноги...»	36
«Волынки плач овцы. Грамматика двойная...»	37
«Всё больше интонации, тумана...»	38
«Шёпотом дождь поёт. Значит, вот-вот зурна...»	39
«Снег в форме машины едет издалека...»	40
«Ты откуда, сигаретный...»	41
«Поздняя осень. В пейзаже...»	42
«Упираясь лбом в звезду...»	43
«Ты знаешь изначально...»	44
«Ангелы легче снега...»	45
«Пуговицу смахнуло...»	46
«У кукушки всего одно слово...»	47
«Что наши мысли? — бред природы...»	48
«Воробьи склевали пайку...»	49
«От неба, и огня, и от воды глубокой...»	50

Из второй книги

«Сколько времени там на весле...»	51
«Пахнет ладонь сосной...»	52
«Кто-то в печной трубе...»	53
«Меж безднами двумя...»	54
«Запомнишь ли — не мысль, не звук...»	55
«Кто-то спросил: — Ну, как...»	56
«Переведи меня...»	57
«Дождик чует наготу...»	58
«Плачет коза, поднимаясь в горку...»	59
«Ходит музыка по коже...»	60
«Эта собака не для езды...»	61
«Позолоченная стружка...»	62
«Эти пальцы, веки эти...»	63
«Медленно, медленно ваза...»	64
«Что-то ещё я хотел... Никак...»	65
«Мороз пронизаем и розов...»	66
«Зима в деревне холоднее...»	68

«Погладил печь — спадает жар...»	69
«В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом...»	70
«В полуслезях, в полубреду...»	72
«Убивал. Великолепила...»	73
«Ищу тебя. Иду по краю...»	74
«Кую в больничном туалете...»	74
«Ангел плюнет в потолок...»	75
«Мышка больничная, жизнью шурша...»	75
«Когда я умер, стало мне...»	76
«Прощай. Что было — не прошло...»	76

Из третьей книги

«Я знаю эту дрожь...»	77
«Где-то глаза кочуют...»	78
«Где очень больно, там светло...»	79
«В стену горох, в стену горох...»	80
«Стукнет с небес дубинка...»	81
«Сад попросился в дом...»	82
«К вечеру, пустившему слюну...»	83
«Всюду Господа белые брови...»	84
«Ходит шатун-трава...»	85
«Плачет кулик, плачет кулик...»	86
«Птичка серая скажет мне...»	87
«Так пасмурно, что нету небосклона...»	88
«Нежнее иinea в зверином ухе...»	89
«Маленький человек...»	90
«Буду водой стоять...»	91
«Ты в воду посмотришь — потом из воды...»	92
«Живой и мёртвый, с вечностью во рту...»	93
«Под крышкой пусто. Нет, под нею...»	94
«Зимы короткий век...»	95
«Есть нитка золотая, есть игла...»	96
«Хорошо ты сидишь у окна...»	97
«Стать золотым и нелюбимым...»	98
«Не свет, а зрению подмога...»	99

«Твой бывший ангел у окна...»	100
«Крикнуть себе вслед...»	101

Новые элегии

«Рыбы целуют изнанку...»	102
«Мёд золотой листвы выпит наполовину...»	103
«Не с горя, нет, не с перепугу...»	104
«И снова Бог заплачет надо мной...»	104
«Кто выдавит мне слёзы из-под век...»	105
«Кто мне веки горькие поднимет...»	106
«Словно бабочка шире окна...»	107
«Кто-то вскрикнул: “Баба Настя”...»	108
«То шмель пинается. То муха...»	109
«Сивый, больной, поддатый...»	110
«Прошла гроза, хорошая гроза...»	111
«Чертополоху-чуду...»	112
«На расстоянье вытянутой — здесь...»	113
«Летишь и видишь сквозь крыло...»	114
«Пёрышко чье-то прилипло к порогу...»	115
«Когда с фонариком рыбачишь...»	116
«Еще до слова, до начала...»	117
«Кто ягнёнка белого поставил на крыльцо...»	118
«Это твоя зола...»	119
«От поля в снежном перепахе...»	120
«Сначала тень — потом сорока...»	121
«Вот-вот пройдёт. Как больно. И во мраке...»	122
«Взгляд пропадает где-то...»	123
«Две деревяшки, помнишь, и пружинку...»	124
«Это утренняя птичка...»	125

Из других книг

«Дождь отрада, дождь отравя...»	126
«Какой ночлег — под музыку ведра!...»	127
«Все позади — судьба и лебеда...»	128
«Как выпал снег, так пишется о снеге...»	129

«На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом...»	130
«Я прижался к тебе — и земля побелела...»	131
«В этом доме был вчера покойник...»	132
«Приедешь из города — хлеб привезешь...»	133
«Мой дед не умер потому...»	134
«У ласточки две родины. Она...»	135
«Ночью проснусь и заплачу...»	136
«До свиданья навсегда...»	137
Заморозки	138
«Внесла лубяное бельё...»	139
«Не божий промысел — подачка...»	140
«Кажет шмель золотые подмышки...»	141
«Приближается время творца...»	142
«Воскресенье. Выпал снег...»	143
«Я чувствовал, когда на мушку...»	144
«Красный ястреб, жизнь у нас одна...»	145
«Любил бы тебя, да морозная сила...»	146
«В том месте, где душа...»	147
«Ночью шлепал босыми ногами...»	148
«Пасмурный день. Средиземная скука...»	149
«Спи на Рождественском лугу...»	150
Шмель	151
«Сибирь прилипла к сапогу...»	152
«С востока сдвинулась душа...»	153
«Во мне побывали Париж и Москва...»	154
«Как две свечи — надбровья...»	155
«У рыбы круглые следы...»	156
«Стрекоза на седьмом этаже...»	157
«Озябли Божьи ноги...»	158
«Я писарь твой, Господь...»	159
«Какое головокруженье...»	160
«Снегопад. Сибирь, однако...»	161
«Пахнет красным желтый донник...»	162
«Зеркала осколок...»	163
«Это хруст каблука, вывих твердого знака...»	164
«Мужских очей объятье...»	165

«Бродяга с бабочкой во рту...»	166
«В невозможной тишине...»	167
«Скошены пчѣлы, пропали поля...»	168
«Думать, думать, думать...»	169
«Лампу выкручу-вкручу...»	170
«Я поплачу над фильмом плохим...»	171
«Всю ночь волнистое стекло...»	172
«Сердце сжимается, гибнет звезда...»	173
«Три вороны на север летят...»	174
«Смерть на продавленном диване...»	175
«Я ничего у тебя не прошу...»	176
«Косноязычные с мороза...»	177
«Волк — в клетке...»	178

Глина

«Лицо прекрасное, лицо беды...»	181
«Не над бочкой, а прямо над бездной...»	182
«Детское мужество взрослые страхи...»	183
«В прошлом году вчера...»	184
«И после смерти я умру...»	185
«Я к вам ненадолго я в гости»	186
«Близорукий туман дальноркая тьма»	187
«Но кто-то за спиной»	188
«Всѣ перед снегом пахнет солью»	189
«Шаги, шаги, шаги, а человека нету...»	190
«Уже сентябрь. Светлеет только в семь...»	191
«Не снегопад, а призрак речи...»	192
«Одеты в пустоту поля и перелески...»	193
«Усилиями зренья и погоды...»	194
«7-января»	195
«Семь дырочек в древесной самокрутке...»	196
«Нет имени у глаз — они ночное небо...»	197
«Не лицом — посмертной маской...»	198

«Прекрасен на земле чертополох...»	199
«В России дождь. В Его проходке...»	200
«Смерть тебе сходит с рук...»	201
«Душа-невидимка — но дымка...»	202
«Зеркало сказало: умираю...»	203
«Слышу звон топора, вьюрка...».	204
«О шелестящий звук...».	205
«Воды недвижимое мгновенье...».	206
«Где-то молча пили, пели...».	207
«Слепой росе в дремоте комариной...».	208
«Смотреть слезами в темноту...»	209
«Попробуй птичье говорение...»	210
«Бабочка сядет и крылья в щепоть...»	211
«Лодка. Рыбачий домик...»	212
«Когда к тебе вернется память взгляда...»	213
«Я в зеркале себя не узнаю	214
«Так море движется и снится...»	215
«Если спирту — воды немного...»	216
«Не гляди на меня, дорога...»	217
«И бездна очи открывает...»	218
«Деревья шли, деревья шли...»	219
«Словно табачный дым...»	220
«Плачешь во сне. Во сне...»	221
«Время ищет открытую фортку...».	222
«Нет имени у смерти, потому...»	223
«У, жестяное серебро...»	224
«Вода понимает, что скоро зима...»	225
«У слепого слова солонь...»	226
«Утки делают пятый круг...»	227
«Кто тебе в спину смотрит с утра...»	228
«Когда человек умирает...»	229
«Старенькое пальто...»	230
«Сигаретка перед посадкой...»	231
«Собака воеет не по мне...»	232

«В мебелированном бараке...»	233
«Прикасаюсь к рябине, спящей, как смерть, в ноябре...».	234
«Умываюсь слезами с куста...»	235
«Это капляжка жизни с небес притекла...».	236
«Где-то в воздушной яме...»	237
«Осень — это когда болит...».	238
«Край снегопада. Рай...»	239
«Растение воды восходит на морозе...».	240
«Слёзка солью присосётся...»	241
«Света светлее, больше большой белизны...».	242
«В снежном поле пробил тропку...»	243
«Окно состоит из неба...»	244
«Кто тебе смотрит в спину...»	245
«В разрывах облаков не высота...»	246
«И подо мной, и надо мной...»	247
«Соберут мои старые валенки...»	248
«В детстве на дереве в небе сижу...»	249
«Какие высятся морозы...»	250
«Шаг ли в сторону – сразу в снегу утонешь...»	251
«Без тепла...»	252
«Ах, это птичка, как её...»	253
«Что-то схожу с ума...»	254
«Озеро обмелело. Теперь оно...»	255
«Душа на морозе в губах шелестела...»	256
«Лес прислонился к снегу...»	257
«Одинокий старик...»	258
«Если найдешь меня...»	259
«Лапки, веточки сорочки...»	260
«Всё гуще книга в дереве. Она...»	261
«Сгибаю ветер в две погибели...»	262
«Камень места не находит...»	263
«Капля слизывает себя долго...»	264
«Золото. Серебро. Алмаз...»	265
«Сон после жизни — мука...»	266

Новые стихотворения (2012 — 2015)

«Цветом черёмухи глаз припорошен...»	269
«Ночью тебе хорошо, одиноко...»	270
«Тень надвигалась отовсюду...»	271
«Так пасмурно, что пахнет жостью...»	272
«Сёстры мои, беда...»	273
«Леска поёт на ветру...»	274
«Ласточки учат строю...»	275
«Иду-бреду обутый в глину...»	276
«Крапива старая, как тряпка...»	277
«Лес умыт...»	278
«Не смотри на сад в окошко...»	279
«Небо сжимается до размера...»	280
«Всё, кроме смерти, случилось...»	281
«Яблоко в яблоне — чем не житьё...»	282
«Смерть пахнет голодом и глиной...»	283
«Осиротевшая от страсти...»	284
«Осыпается время в лесу...»	285
«Осень. В деревьях куски воронья...»	286
«Учится забвению Овидий...»	287
«Утром была зима...»	288
«Вспыхнет в воде вода...»	289
«У дерева внутри...»	290
«Гуси изображают снег...»	291
«Уже отвесны небосклоны...»	292
«Люби и смерти равный...»	293
«Листья опавшие. Тополь худой...»	294
«Осень. Уже не больно...»	295
«Осенью умер дрозд...»	296
«Сколько ознобов зрячих...»	297
«Щеглам — мои глаза и в рюмочке роса...»	298
«Я никогда не увижу щегла...»	299
«Стою под снегом у огня...»	300

«Северной стороной...»	301
«Кажется, всё в порядке...»	302
«В глухом году, в пустом саду...»	303
«Темнеет. Осени зола...»	304
«Синица осенью вернётся...»	305
«Я умер. И это не снится...»	306
«Там, где встречается время...»	307
«С разбитой, нетронутой рожей...»	308
«Тычется в темя иная вода...»	309
«Дров объятье, когда их несёшь...»	310
«Море приходит сразу...»	311
«Что за повесть Ты пишешь на моём лице...»	312
«Понимают дети: вот дождь, вот снег...»	313
«Дым осинový...»	314
«Кто в золотом наклоне...»	315
«Чем больше неба, тем меньше птиц...»	316
«Между белым и белым белеет...»	317
«Снежное поле с собой поволоку...»	318
«Заглядывает свет в стеклянные шары...»	319
«Отщипнёшь ли от моря слезинку...»	320
«Откуда ветер?.. Дерево — с погоста...»	321
«Вот Млечный Путь. Вот потолок...»	322
«Душу выхолодит стыд...»	323
«С валенок небо, как пух, обмету...»	324
«Наденешь летние галоши...»	325
«Мёрзлые вишни. Собачье зверьё...»	326
«Спят — не спят, потом зевают...»	327
«Север-юг, запад-восток...»	328
«Вот говорю себе...»	329
«Чувствуешь, муравей...»	330
«Я смотрю в себя в этом месте, здесь...»	331
«Дерево выпито, как водоём...»	332
«За окном полыхнут оцинкованные...»	333
«Ночью ударит в дверь...»	334

«Зимой светло. Зимой светло...»	335
«Вобьешь ли в небо звонкий гвоздь...»	336
«Топится печь. Гудит...»	337
«Вернёшь ли Господу рубаху...»	338
«Вон сорока пошёл. Куда пошёл...»	339
«Через ночной огород...»	340
«Как высоко и медленно, и нежно...»	341
«Колонны дыма, серебра...»	342
«Ломтик хлеба кладут на стакан...»	343
«Голой ночью Господу не спится...»	344
«Зеркальце волчке слоится, двоится, троеится...»	345
«За корень, вложенный в долину...»	346
«Кто-то прошёл по воде...»	347
«Завируха. Фонарь в сторонке...»	348
«Мерцает боль снаружи...»	349
«Кровь родовая петляет, растёт...»	350
«Так натянута леска...»	351
«Вот ты умер, Саша...»	352
«Рыба вскричит, когда...»	353
«Не на земле, а выше — вдоль земли...»	354
«Трава растёт толпой...»	355
«Вот картошку посадили...»	356
«Зеркало долго струится из глаз...»	357
«Что-то пою в бреду...»	358
«Щелчок по зеркалу, по чёрному стеклу...»	359
«Округу, тронутую ртом...»	360
«Ласточка бьёт стрекозу...»	361
«Смотрит, смотрит непогода...»	362
«Небо откроет рот...»	363
«Сила жизни, сила боли...»	364
«Ресницами с зимы слезу смахнём...»	365
«Долгие слёзы найдёт озерцо...»	366
«Качает кисточкой китайской...»	367
«Туманом срезана земля...»	368

«Ночью светло в отчизне...»	369
«Может быть, в феврале...»	370
«Горькой была и сладкой...»	371

Литературно-художественное издание

Казарин Юрий Викторович
СТИХОТВОРЕНИЯ

Золотая библиотека «Русского Гулливера»
Том I

Руководитель проекта В. Месяц
Ответственный редактор Е. Перченкова
Художественный редактор Д. Паташинский
Корректор Н. Зенкова
Оригинал-макет и вёрстка Е. Перченкова

Издательский проект «Русский Гулливер»
Центр современной литературы

Тел. +7 (495) 159-00-59
E-mail: russian_gulliver@mail.ru
<http://www.gulliverus.ru/>

Подписано в печать 20.05.2015
Формат 145·х·180
Гарнитура Arno Pro
Тираж заказной
Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Cherry Pie
112114, Москва, 2-й Кожевнический пер., 12